

Венедикт Ерофеев
Вальпурьева

НОЧЬ





В трагедии участвуют:

Старший врач больницы (доктор).

Натали, Люси, Тamarочка– медсестры.

Боренька – медбрат по кличке **Мордovorot**.

Гуревич.

Прохоров – староста третьей палаты.

Алеха, по кличке **Диссидент**,– оруженосец Прохорова.

Вова – меланхолический старичок из деревни.

Сереза Клейнмихель – тихоня и прожектор.

Витя – застенчивый обжора.

Стасик – декламатор и цветовод.

Коля – интеллеktуал и слюнтяй.

Пашка Еремин – комсорг третьей палаты.

«Контр-адмирал» Михалыч.

Хохуля – старый сексуальный мистик и сатанист.

Толстые санитары с носилками, в последнем акте уносящие трупы.

Все происходит 30 апреля, потом ночью, потом в часы первомайского рассвета.

Акт первый (он же – пролог)

Приемный покой. Слева от зрителя – жюри: старший врачбольницы, очень смахивающий на композитора Георгия Свиридова, спочти квадратной физией и в совершенно квадратных очках – вдальнейшем будем называть его просто доктор. По обестороны от него две дамы в белых халатах: занимающая почтипол-авансцены Тамарочка и сутуловатая, на всеотсутствующая, в очках и с бумагами, Люси. Позади них мернопрохаживается санитар и медбрат Боренька, он жеМордворот, и о нем вся речь впереди. По другую сторону стола -только что доставленный «чумовозом» («скорой помощью»)Гуревич.

Доктор. Ваша фамилия, больной?

Гуревич. Гуревич.

Доктор. Значит Гуревич. А чем вы можете подтвердить, что вы Гуревич, а не... Документы какие-нибудь есть при себе?

Гуревич. Никаких документов, я их не люблю. Рене Декарт говорил, что...

Доктор (поправляет очки). Имя-отчество?

Гуревич. Кого? Декарта?

Доктор. Нет-нет, больной, ваше имя-отчество!...

Гуревич. Лев Исаакович.

Доктор (из-под очков, в сторону очкастой Люси). Отметьте.

Люси. Что отметить, простите?

Доктор. Все! Все отметить!... Родители живы?...

Гуревич. Живы.

Доктор. Интересно, как их зовут.

Гуревич. Исаак Гуревич. Маму – Розалия Павловна...

Доктор. Она тоже Гуревич?

Гуревич. Да. Но она русская.

Доктор. И кого вы больше любите, маму или папу? Это для медицины совсем немаловажно.

Гуревич. Больше все-таки папу. Когда мы с ним переплывали Геллеспонт...

Доктор (очкастой Люси). Отметьте у себя. Больше любит папу-еврея, чем русскую маму... А зачем вас понесло на Геллеспонт? Ведь это, если мне не изменяют познания в географии, еще не наша территория...

Гуревич. Ну, это как сказать. Вся территория – наша. Вернее, будет нашей.

Доктор. А... очень широк, этот Геллеспонт?

Гуревич. Несколько Босфоров.

Доктор. Это вы что же – расстояние измеряете в босфорах? Вам повезло, больной, вашим соседом по палате будет человек: он измеряет время тумбочками и табуретками. Вы с ним споетесь. Так что же такое Босфор?

Гуревич. Ничего нет проще. Даже вы поймете. Когда я по утрам выхожу из дому и иду за бормотухой, то путь мой до магазина занимает ровно шестьсот семьдесят моих шагов, – а по Брокгаузу это точная ширина Босфора.

Доктор. Пока все ясно. И часто вы вот так прогуливаетесь?

Гуревич. Когда как. Другие чаще. Но я, в отличие от них, без всякого форсу и забубенности. Я – только когда печален...

Доктор. А на какие средства вы... каждый день переходили этот ваш Босфор? Это очень важно...

Гуревич. Так ведь мне все равно, какая работа – массовый сев гречихи и проса... или наоборот... Сейчас я состою в хозмагазине, в должности татарина.

Доктор. И сколько вам платят?

Гуревич. Мне платят ровно столько, сколько моя Родина сочтет нужным. А если б мне показалось мало, ну, я надулся бы, например, и Родина догнала бы меня и спросила: «Лева, тебе этого мало? Может быть, немножко добавить?» Я бы сказал: «Все хорошо, отвяжись, Родина, у тебя у самой ни хрена нету».

Доктор (из соображений авантажности). Я понял, что вы больше вольный мореплаватель, а не татарин из хозмага. Встаньте. Сдвиньте ноги. Зажмурьте глаза. Протяните руки вперед.

Гуревич (делает то, что ему предлагают). Я могу сесть?

Доктор. Можете, можете. Довольно. Нам уже по существу все понятно... Кстати, какое сегодня число на дворе? Год? Месяц?

Гуревич. Какая разница?... Да и все это для России мелковато – дни, тысячелетия...

Доктор. Понятно. Скажите, больной: случаются ли у вас какие-нибудь наваждения, иллюзии, химеры, потусторонние голоса?...

Гуревич. Вот этим обрадовать вас не могу – не случилось. Но...

Доктор. Что все-таки «но»?...

Гуревич. Да вот я о химерах... Ну, для ради чего, например, я изъездил весь свет, пересекал все куэнь-луни, взбирался на вершины Кон-Тики – и узнал из всего этого только одно: в городе Архангельске пустую винную посуду сдавать на улице Розы Люксембург!

Доктор. А еще какие странности?

Гуревич. Очень много. Допустим, является желание, чтобы небо было в одних Волопасах. Чтобы никаких других созвездий. И чтобы меня – под этими Волопасами – лишили бы чего-нибудь: чего-нибудь существенного, но не самого дорогого.

Доктор и медсестры нервничают. За их спинами безмятежнопрогуливается Боренька-Мордovorот.

(Продолжает) Но что мне до Волопасов и Плеяд, когда я стал замечать в себе вот какую странность: я обнаружил, что, подняв левую ногу, я не могу одновременно поднять и правую. Я поделился моим недоумением с князем Голицыным...

Доктор делает знак левым глазом – с тем, чтобы Люси записывала. Она лениво наклоняет конопатое личико.

...и вот мы с ним пили, пили, пили... чтобы привести головы в ясность... И я спросил его шепотом – не потревожить бы кого, да и кого, собственно было тревожить, мы же были одни, кроме нас никого... так вот, значит, я, чтоб никого не потревожить, спросил его шепотом: а почему у меня часы идут в обратную сторону? А он всмотрелся в меня, в часы, а потом говорит: «Да по тебе не заметно, да и выпил вроде немного... но только и у меня пошли в обратную».

Доктор. Пить вам вредно, Лев Исаакыч...

Гуревич. Будто я этого не понимаю. Говорить мне это сейчас – все равно, положим, что сказать венецианскому мавру, только что потрясенному содеянным, – сказать, что сдавление дыхательного горла и трахеи может вызвать паралич дыхательного центра вследствие асфиксии.

Доктор. Достаточно, по-моему... Значит, с князем Голицыным... А с виконтами, графьями, маркизами – не приходилось водку хлестать?...

Гуревич. Еще как приходилось. Мне, например, звонит граф Толстой...

Доктор. Лев?

Гуревич. Да отчего же непременно Лев? Если граф – то непременно Лев! Я вот тоже Лев, а ничуть не граф. Мне звонит правнук Льва и говорит, что у него на столе две бутылки имбирной, а на закуску ничего нет, кроме двух анекдотов о Чапае...

Доктор. И он далеко живет, этот граф Толстой?

Гуревич. Совсем недалеко. Метро «Новокузнецкая», а там совсем рядом. Если вы давно не пили имбирной...

Доктор. А как вам Жозеф де Местр? Виконт де Бражелон? Вы бы их пригласили под забор, шлепнуть из горла... этой... как вы ее называете... бормотухи?

Гуревич. Охотно. Но чтоб под этим забором были заросли бересклета. И неплохо бы анемоны... Но ведь ходят слухи, они все уже эмигрировали...

Доктор. Анемоны?

Гуревич. Добро бы только анемоны. А то ведь и бражелоны, и жозефы, и крокусы. Все-все бегут. А зачем бегут? А куда бегут? Мне, например, здесь очень нравится. Если что не нравится – так это запрет на скитальчество. И... неуважение к Слову. А во всем остальном...

Доктор (полномочный тон его переходит в чрезвычайный). Ну а если с нашей Родиной стряется беда? Ведь ни для кого не секрет, что наши недруги живут одной только мыслью: дестабилизировать нас, а уж потом окончательно... Вы меня понимаете? Мы с вами говорим не о пустяках. (Обращаясь к Тamarочке) Сколько у нас в России народностей, языков, племен?

Тамарочка. А хрен их знает... Полтыщи есть наверняка.

Доктор. Вот видите: полтыщи. И как вы думаете, больной, в случае обстоятельств – перед лицом противника, – какое племя окажется самым ненадежным? Вы человек грамотный, знаете толк в бересклетах и анемонах и знаете, что они от нас почему-то убегают... И вот гроза разразилась – в каком вы строю, Лев Исаакович?

Гуревич. Вообще-то я противник всякой войны. Война портит солдат, разрушает шеренгу и пачкает мундиры. Великий князь Константин Павлович... Но это ничего не значит. Как только моя Отчизна окажется на грани катастрофы...

Доктор (в сторону Люси). Запишите это тоже.

Гуревич. Как только моя Отчизна окажется на грани катастрофы, когда она скажет: «Лева! Брось пить, вставай и выходи из небытия» – тогда...

Оживление в зале. Стук каблучков справа – и в приемный покой стремительно, но без суеты вплывает медсестра Натали. Глаза занимают почти половину улыбчатой физиономии. Ямка на щеке. Волосы на затылке, совершенно черные, скреплены немыслимой заколкой. Все отдает славянским покоем, но и Андалузией тоже.

Доктор. Вы очень кстати, Наталья Алексеевна.

Обычный обмен приветствиями между дамами и все такое. Натали усаживается рядом с Люси.

Натали. Новичок... Гуревич?!... Сколько лет, сколько...

Доктор. Мы уже по существу заканчиваем беседу с больным. Не отвлекать внимания, Наталья Алексеевна, и никаких сепаратностей... Осталось выяснить только несколько обстоятельств – и в палату...

Гуревич (воодушевленный присутствием Натали, продолжает). Мы говорили об Отчизне и катастрофе. Итак, я люблю Россию, она занимает шестую часть моей души. Теперь, наверно, уже немножко побольше...

Смех в зале.

Каждый наш нормальный гражданин должен быть отважным воином, точно так же, как всякая нормальная моча должна быть светлоянтарного цвета. (Вдохновенно цитирует из Хераскова.)

"Готовы защищать отечество любезно,
Мы рады с целою вселенной воевать".

Но только вот такое соображение сдерживает меня: за такую Родину, такую Родину я, нравственно плюгавый хмырь, просто недостойн сражаться.

Доктор. Ну почему же? Мы вас тут подлечим... и...

Гуревич. Ну так что же, что подлечите?... Я ни за что не разберу, какой танк и куда идет. Я готов, конечно, броситься под любой танк, со связкой гранат или даже без связки...

Доктор. Да без связки-то зачем?

Гуревич. Неприятель взлетает на воздух, если даже под него кидаются вообще без ничего... Мой вам совет: побольше читайте. Ну, а уж если не окажется ни одного танка поблизости, тогда хоть амбразура найдется, точно. Чья – не важно. Я, не мешкая, падаю на нее грудью – и лежу на ней. Лежу, пока наш алый стяг не взовьется над Капитолием.

Доктор. Паясничать, по-моему, уже достаточно. У нас, вы сегодня же убедитесь, скоморохов пруд пруди. Как вы оцениваете ваше общее состояние? Или вы серьезно считаете свой мозг неповрежденным?

Гуревич (пока зануда-доктор пощелкивает пальцами по столу). А вы – свой?

Доктор (желчно). Я вас просил, больной, отвечать только на мои вопросы. На ваши я буду отвечать,

когда вы вполне излечитесь. Так как же обстоит с вашим общим состоянием, на ваш взгляд?

Гуревич. Мне это трудно сказать... Такое странное чувство... Ни-во-что-не-погруженность... ничем-не-взволнованность, ни-к-кому-не-рас-положенность... И как будто ты с кем-то помолвлен... а вот с кем, когда и зачем – уму непостижимо... Как будто ты оккупирован, и оккупирован-то по делу, в соответствии с договором о взаимопомощи и тесной дружбе, но все равно оккупирован... и такая... ничем-вроде-бы-непотревоженность, но и ни-на-чем-не-распятость... Короче, ощущаешь себя внутри благодати – и все-таки совсем не там... ну... как во чреве мачехи...

Аплодисменты.

Доктор. Вам кажется, больной, что вы выражаетесь неясно. Ошибаетесь. А это гаерство с вас пошибут. Я надеюсь, что вы при всей вашей склонности к цинизму и фанфаронству уважаете нашу медицину и в палатах не станете буйствовать.

Гуревич (чуть взглянув на Натали, оправляющую свой белый халатик).

Мой папа говорил когда-то: "Лев,
Ты подрастешь – и станешь бонвиваном!"
Я им не стал. От юности своей
Стяжал я навык: всем повиноваться,
Кто этого, конечно, стоит. Да,
Я родился в смиренной рубашке.
А что касается...

Доктор (нахмурясь, прерывает его). Я, по-моему, уже не раз просил вас не паясничать. Вы не на сцене, а в приемном покое... Можно ведь говорить и людским языком, без этих... этих...

Натали (подсказывает)... шекспировских ямбов...

Доктор. Вот-вот, без ямбов, у нас и без того много мороки...

Гуревич. Хорошо, я больше не буду... вы говорили о нашей медицине, что ли я ее? Чту – слово слишком нудное, по правде, и... плоскостопное...

Но я – но я влюблен в нее – и это
Без всякого фиглярства и гримас
Во все ее подъемы и паденья,
Во все ее потуги врачеванья
И немощей телесных, и душевных,
В ее первенство во Вселенной, в Разум
Немеркнувший, а стало быть, и в очи,
И в хвост, и в гриву, и в уста, и в...

На протяжении этой тирады Боренька-Мордovorот тихонько сзадиподходит к декламатору, ожидая знака, когда брать за загровки волочь.

Доктор. Ну-ну-ну-ну, довольно, пациент. В дурдоме не умничают... Вы можете точно ответить, когда вас привозили сюда последний раз?

Гуревич. Конечно. Но только – видите ли? – я несколько иначе измеряю время. Само собой, не фаренгейтами, не тумбочками, не реомюраами. Но все-таки чуть-чуть иначе... Мне важно, например, какое

расстояние отделяло этот день от осеннего равноденствия или там... летнего солнцеворота... или еще какой-нибудь гадости. Направление ветров, например. Мы вот – большинство, не имеем даже представления: если ветер нордост, то куда он, собственно, дует: с северо-востока или на север-восток, нам на все наплевать... А микенский царь Агамемнон – так он клал под жертвенный нож свою любимую младшую дочурку Ифигению – и только затем, чтобы ветер был норд-ост, а не какой-нибудь другой...

Доктор (заметив взволнованность больного, дает знак всем остальным). Да... но вы отклонились от заданного вопроса, вас унесло норд-остом.

Все смеются, кроме Натали.

Так когда же вас последний раз сюда доставили?

Гуревич. Не помню... не помню точно... И даже ветров... Вот только помню: в тот день шейх Кувейта Абдаллах-ас-Салем-ас-Сабах утвердил новое правительство во главе с наследным принцем Сабах-ас-Салемом-ас-Сабахом... Восемьдесят четыре дня от летнего солнцестояния... Да, да, чтоб уж совсем быть точным: в этот день случилось событие, которое врезалось в память миллионов: та самая пустая винная посуда, которая до того стоила двенадцать или семнадцать копеек – смотря какая емкость, – так вот в этот она вся стала стоить двадцать.

Доктор (смирив взглядом прыскающих дев). Так вы считаете, что в истории Советской России за минувшие пять лет не произошло события более знаменательного?

Гуревич. Да нет, пожалуй... Не припомню... Не было.

Доктор. Вот и память начинает вам изменять, и не только память. В прошлый раз вашим диагнозом было: граничащая с полиневритом острая алкогольная интоксикация. Теперь будет обстоять сложнее. С полгода вам полежать придется...

Гуревич (вскакивая, и все остальные вскакивают). С полгода?

Боренька тренированными руками опускает Гуревича в кресло.

Доктор. А чему вы удивляетесь, больной? У вас прекрасный наличный синдром. Сказать вам по секрету, мы с недавнего времени приступили к госпитализации даже тех, у кого – на поверхностный взгляд – нет в наличии ни единого симптома психического расстройства. Но ведь мы не должны забывать о способности этих больных к произвольной или хорошо обдуманной диссимуляции. Эти люди, как правило, до конца своей жизни не совершают ни одного антисоциального поступка, ни одного преступного деяния, ни даже малейшего намека на нервную неуравновешенность. Но вот именно этим-то они и опасны и должны подлежать лечению. Хотя бы по причине их внутренней несклонности к социальной адаптации...

Гуревич (в восторге). Ну, здорово!...

Я все-таки влюблен
И в поступь медицины, и в триумфы
Ее широкой поступи – плевков
В глаза всем изумленным континентам,
В самодостаточность ее и в нагловатость,
И в хвост ее опять же, и в...

Доктор (титулованный голос его переходит в вельможный). Об этих ямбах мы, кажется, с вами уже

давно договорились, больной. Я достаточно опытный человек, я вам обещаю: все это с вас сойдет после первой же недели наших процедур. А заодно и все ваши сарказмы. А недели через две вы будете говорить человеческим языком нормальные вещи. Вы – немножко поэт?

Гуревич. А у вас и от этого лечат?

Доктор. Ну, зачем же так?... И под кого вы пишете? Кто ваш любимец?

Гуревич. Мартынов, конечно...

Доктор. Леонид Мартынов?

Гуревич. Да нет же – Николай Мартынов... И Жорж Дантес.

Натали (пользуясь всеобщим оживлением) Так ты, Лева, теперь чешешь под Дантеса?

Гуревич. Нет-нет, прежде я писал в своей манере, но она выдохлась. Еще месяц тому назад я кропал по десятку стихотворений в сутки – и, как правило, штук девять из них были незабываемыми, штук пять-шесть эпохальными, а два-три бессмертными... А теперь нет. Теперь я решил импровизировать под Николая Алексеевича Некрасова. Хотите про соцсоревнование?... Или нельзя?...

Доктор. Ну, почему же нельзя? Соцсоревнование – ведь это...

Гуревич. Я очень коротко. Семь мужиков сходятся и спорят: сколько можно выжать яиц из каждой курицы-несушки. Люди из райцентра и петухи, разумеется, ни о чем не подозревают. Кругом зеленая масса на силос, свиноматки, выпела – и вот мужики заспорили:

Роман сказал: сто семьдесят
Демьян сказал: сто восемьдесят,
Лука сказал: пятьсот,
Две тысячи сто семьдесят -
Сказали братья Губины,
Иван и Митродор.
Старик Пахом потупился
И молвил, в землю глядячи:
сто тридцать одна тысяча четыреста четырнадцать.
А Пров сказал: мультон.

Может быть, продолжить?

Доктор (отмахиваясь). Нет-нет, не надо... Борис Анатольевич, Наталья Алексеевна, будьте добры, проводите больного до четвертой палаты. И немедленно в ванную. (Гуревичу) До... водобоязни, надеюсь, у вас дело еще не дошло?

Гуревич. Не замечал. Если не считать, что с ванной у меня куча самых кровавых ассоциаций. Вот тот самый микенский Игорь Агамемнон, о котором я вам уже упоминал, – так вот его по возвращении из Пергама в ванной зарубили тесаком. А великого трибуна революции Марата...

Люси (не слушая его, обращается к доктору). А почему все-таки в четвертую? Там одни вонючие охламоны... Там он зачахнет, и у него появятся суицидальные мысли. По-моему, лучше в третью. Там Прохоров, Еремин, там его прищучат...

Доктор. Суицидальные мысли, вы говорите... (Гуревичу). Еще последний вопрос. Когда-нибудь, пусть даже в самой глубокой тайне, не являлось ли у вас мысли истребить себя... или кого-нибудь из своих близких?... Потому что четвертая палата – эта не третья, и нам приходится подчас держать ухо востро...

Гуревич. Положа руку на сердце, я уже отправил одного человека туда – мне было тогда лет... не

помню, сколько лет, очень мало, но эта все случилась за три дня до новолуния... Так мне был тогда больше всего неприятен мой плешивый дядюшка, поклонник Лазаря Кагановича, сальных анекдотов и куриного бульона. А мне мой белобрысый приятель Эдик притащил яду, он сказал, что яд безотказен и замедленного действия. Я влил все это дядюшке в куриный бульон – и что ж вы думаете? – ровно через двадцать шесть лет он издох в страшных мучениях...

Доктор. Мда: Шут с ним, с вашим дядюшкой: А на себя самого – ни разу в жизни не было влечения наложить руки?

Гуревич. Случалось, и только позавчера, во время Потопа...

Доктор. Всемирного?...

Гуревич. Ничуть не всемирного. Все началось с проливных дождей в Орехово-Зуеве... У нас в последнее время в России началась полоса странных, локальных катастроф: под Костромой, среди бела дня, взмывают к небесам грудные ребяташки, бульдозеры и все такое. И никого не удивляют эти фигли-мигли. Примерно так же обстояло в Орехово-Зуеве: дожди хлестали семь дней и семь ночей, без продыха и без милосердия, земля земная исчезла вместе с небесами небесными.

Доктор. А какие черти занесли нас в Орехово-Зуево?!... Татарина из московского хозмага?

Гуревич.

О грустно быть татаринoм – до грoба!
Пришлось подзарабатывать в глуши:
И конформистом, и нонконформистом,
И узурпатором. Антропофагом,
На должности японского шпиона
При институте Вечной Мерзлоты...

Короче, когда на город обрушилась стихия, при мне был челн и на нем двенадцать удалых гребцов-аборигенов. Кроме нас, никого и ничего не было над поверхностью волн... И вот – не помню, на какой день плавания и за сколько ночей до солнцеворота – вода начала спадать и показался из воды шпиль горкома комсомола... Мы причалили. Но потом какое зрелище предстало нам: опустошение сердец, вопли изнутри сокрушенных зданий... Я решил покончить с собой, бросившись на горкомовский шпиль...

Доктор, обхватив, голову, дает понять Бореньке и Натали, чтобы больного поскорее отвели в палату.

Еще мгновение, ребята!... И когда уже мое горло было над горкомовским острием, а горкомовское острие – под моим горлом, – вот тут-то один мой приятель-гребец, чтоб позабавить меня и отвлечь от душевной черноты, загадал мне загадку: «Два поросенка пробегают за час восемь верст. Сколько поросят пробегут за час одну версту?» Вот тут я понял, что теряю рассудок. И вот – я у вас. (Поднимается с кресла)

Ему подчеркнuto учтиво помогает Боренька.

И с того дня – мещанина в голове... нахт унц нэбель... все путается, теленки, поросенки, Мамаев курган, Малахов курган...

Натали. У тебя не кружится голова, Лев? Иди тихонько, тихонько.

Натали ведет его под левую руку, Боренька под правую.

Все сейчас пройдет, тебя уложат в постель...

Гуревич (покорно идет). Но все отчего-то мешается, путается, поросенки, курганы... Генри Форд и Эрнест Резерфорд... Рембрандт и Вилли Брандт...

Доктор (вслед им). В третью палату. Глюкоза, парацетам.

Гуревич (удаляется с сопровождающими и голос его все приглушеннее). Эптон Синклер и Синклер Льюис, Синклер Льюис и Льюис Кэррол, Вера Марецкая и Майя Плисецкая... Жак Оффенбах и Людвиг Фейербах... (уже едва слышно)... Виктор Боков и Владимир Набоков... Энрико Карузо и Робинзон Крузо.

З А Н А В Е С

Акт второй

Ему предшествуют – до поднятия занавеса – пять минут тяжелой инехорошей музыки. С поднятием занавеса зритель видит третью палату с зарешеченными окнами и арочный вход в смежную, вторую палату. Чтоб избежать междупалатной диффузии, обмена информацией и прочее, арочный проход занят раскладушкой, на ней лежит Витя, с непомерным животом, который он, почему-то облизываясь, не перестает поглаживать, с улыбкой ужасающей изастенчивой. Строго диагонально, изогнув шею снизу-слева-вверх-направо, по палате мечется просветленный Стасик. Иногда декламирует что-то, иногда застывает в неожиданной позе – с рукой, например, отдающей пионерский салют, – и тогда декламации прекращаются. Но никто не знает, насколько.

Сереза Клейнмихель, еще вполне юный, сидит на койке почти недвижимо, иногда сползая вниз, постоянно держится за сердце. В царапинах и лишаях, со странным искривлением губ. На соседней койке Коля и кроткий старичок Вова держат друг друга за руку и покуда молчат. Коля то и дело пускает слюну, Вова ему ее утирает. Пока еще лежит, с головой накрытый простыней в ожидании «трибунала», комсорг палаты Пашка Еремин. На койке справа – Хохуля, не поднимающий век, сексуальный мистик и сатанист. Но самое главное, конечно, в центре: неутомимый староста третьей палаты, самодержавный и прыщавый Прохоров и его оруженосец Алеха, по прозвищу Диссидент, вершат (вернее, уже завершают) судебный процесс по делу «контр-адмирала» Михалыча.

Прохоров. Если бы ты, Михалыч, был просто змея, – тогда еще ничего; ну, змея как змея. Но ты же черная мамба, есть такая южноафриканская змея – черная мамба! – от ее укуса человек издыхает за тридцать секунд до ее укуса! На середку, падло!...

Толстый оруженосец полотенцем скручивает «контр-адмиралу» руки за спиной. Поверженный на колени, тот уже не рассчитывает ни на какие пощады.

Как тебе повезло, педераст, дослужиться до такого неслыханного звания: контр-адмирал ГПУ? Может, ты все-таки боцман ГПУ, а не контр-адмирал?

Алеха. Мичман, мичман, я по харе вижу, что мичман!...

Прохоров. Так вот, мичман, мы тут с Алехой подсчитали все твои деяния. Было бы достаточно и одного... Первого сентября минувшего года ты сидел за баранкой южнокорейского лайнера?... Результат налицо – Херсонес и Ковентри в руинах... Удивляет одна лишь изощренность этой акции: от всех его напалмов пострадали только старики, женщины и дети! А все остальные... а все остальные – словно этот холуй над ними и не пролетал!... Так вот, боцман: к тебе вопиют седины всех этих старцев, слезы всех сирот, потроха всех видов – к тебе вопиют! Алеха!

Алеха. Да, я тут.

Прохоров. Так скажи мне и всему русскому народу, когда этот душегуб был схвачен с поличным за продажу на Преображенском рынке наших Курил?

Алеха. Позавчера.

Михалыч (мычит) Неправда все это, позавчера я был здесь, никуда из палаты не выходил, все свидетели, и медсестричка Люся кормила меня пшенной кашей с подливкой...

Прохоров. Это ничего не значит. Сумел же ведь ты, говнюк, за день до этого, не выходя из палаты,

осуществить электронный шпионаж за бассейном Ледовитого океана? Материалы предварительного следствия лгать не умеют. Сам посуди, сучонок, вообрази, что ты не адмирал, а страница материалов предварительного следствия, – мог бы ты солгать?

Михалыч. Ни... никогда.

Прохоров. Итак, мы в клубе знатоков: что? где? когда? почему? Так почему нынче Курильские острова? Итуруп – за бутылку андроповки в рассрочку? Кунашир – почти совсем за просто так...

Михалыч напрасно пытается что-то в свое оправдание мычать.

Мало того, этот боцман имел намерение запродать ЦРУ карту питейных точек Советского Союза. И попутно – нашу синеглазую сестру Белоруссию – расчленил и отдал на откуп диктатору Камеруна Мише Соколову...

Стасик (фланируя мимо, как обычно) Да. За такие вещи по таким головкам не глядят. Я предлагаю: снять с него штаны и пальнуть из мортиры...

Прохоров. Стоп. Я еще не все сказал. У этого пса-мичмана было еще вот такое намерение: поскольку продавать ему было уже нечего – он сумел за одну неделю пропить и ум, и честь, и совесть, – он имел намерение сторговать за океан две единственные оставшиеся нам национальные жемчужины: наш балет и наш метрополитен. Все уже было приготовлено к сделке, но только вот этот двурушник немножко ошибся в своих клиентах с Манхэттена. Когда с одним из них он спустился в метрополитен, чтобы накинуть нужную цену, – этот бестолковый коммерсант-янки решил, что перед ним – балет. А когда тот привел его в балет...

Всеобщий гул осуждения.

Пашка! Комсорг! Сбрось с себя простыню, не бойся, сегодня судят не тебя. Скажи свое слово, товарищ!...

Пашка. Да очень просто: почему этого удава наша держава должна еще бесплатно лечить? По-моему, надо отдать его на съедение Витеньке!...

Возгласы одобрения. Все оборачиваются в сторону Вити. Однако Витя, не переставая улыбаться и поглаживать пузо, делает утверждающее движение розовой своей головой.

Прохоров. Молись, Михалыч! В последний раз молись, адмирал!

Михалыч (уронив голову до пределов, начинает быстро-быстро бормотать) За Москву-мать не страшно умирать, Москва – всем столицам голова, в Кремле побывать – ума набрать, от ленинской науки крепнут разум и руки, СССР – всему миру пример, Москва – Родины украшение, врагам устрашение...

Прохоров. Так-так-так-так...

Михалыч (трясаясь, продолжает) Кто в Москве не бывал – красоты не видал, за передовиками пойдешь – дорогу в жизни найдешь, советскому патриоту любой подвиг в охоту, идейная закалка бойцов рождает в бою молодцов...

Прохоров. Довольно, мичман! Блестящий молитвослов. По-моему, нужно растворить его в каком-нибудь химическом реактиве, чтоб он к вечеру состоял из одной протоплазмы... Только для чего в нашем

отделении лишняя протоплазма, от нее уже и так дышать нечем. Лучше – под трибунал! Коля, утрите свои слюни. Как вы считаете, Коля, – много в нашем отделении протоплазмы?

Коля. Очень много. Я уже не могу...

Прохоров. Ясно. Трибунал. Конечно, сейчас он жалок, этот антипартийный руководитель, этот антигосударственный деятель. Антинародный герой, ветеран трех контрреволюций, он беспомощен и сир, понятное дело, на скромные ассигнования ФБР долго не протянешь... Но все его бормотания и молитвы – это привычное кривляние наших извечных недругов. Это извечное кривляние наших привычных недругов. Это недружественная извечность наших кривляк. (Вдохновенно прохаживается) Так вот, антикремлевские мечтатели рассчитывают на наше с вами снисхождение. Но мы живем в суровые времена, и слова типа «снисхождение» разумнее употреблять пореже. Это только в военное время можно шутить со смертью, а в мирное время со смертью не шутят. Трибунал. Именем народа боцман Михалыч, ядерный маньяк в буденовке и сторожевой пес Пентагона, приговаривается к пожизненному повешению. И к условному заключению во все крепости России разом!

Почти всеобщие аплодисменты.

А пока – за неимением инвентаря – потуже прикрутите его к кровати. Пусть обдумывает свое последнее слово.

Алеха и Пашка опрокидывают Михалыча на постель и простынями и полотенцами прикручивают так, чтоб тот не мог шевельнуться ниодним своим суставом и членом.

Люси (врывается в палату, привлеченная кряхтением палачей и оглушительным рычанием жертвы) Что здесь происходит, мальчишки? Оставьте его в покое. Что ни день – у вас то суд то расправа. Где тут лишняя койка? (Открывает шкаф и вынимает комплект чистого белья, бойко швыряет на порожний матрас.) Скоро обход.

Алеха (тихо берет за плечи крохотную Люси и, выпятив одновременно пузо и глаза-фурункулы, выделяет вокруг нее томные, танцевальные движения, а потом поет свою коронную, предварительно ударив себя в пузо и тряхнув голову)

Мне долго-долго будет сниться
Моя веселая больница,
А еще дольше будет сниться
Твоя шальная поясница.

Прохоров. Алеха! Припев!

Алеха.

Алеха жарит на гитаре,
Обязательно на рыженькой женюсь!
Ал-лех-ха жарит на гитаре,
Обязательно на рыженькой женюсь!
Пум! Пум! Пум! (Бьет по животу)
Обязательно,
Обязательно.
Я на рыженькой женюсь!

Пум! Пум! Пум!
Отстегнула все застёжки,
Распахнула все одежды,
И едва дыхание жизни
Из ноздрей не улетело.
В трюме мичман облевался,
Боцман палубу грызет!
Хо– хо-хо-хо!

Прохоров. Припев, Алеха!

Алеха.

Ал-лех-ха жарит на гитаре,
Но у него не выйдет ничего!
Пум-пум-пум-пум!
Да ну и пусть он жарит на гитаре -
А я... (осклабьсь) А я...
Обязательно,
Обязательно...

Привычно фыркая, Люси ускользает к дверям. И наталкивается навходящего в палату Гуревича в желтой робе, как у всех, и в мокрых волосах. На лице незаметно следа побоев, но общаю побитость очень даже заметна, да и всем понятна: Боренька, санпропускник...

Люси. Ой, а вот новенький... Ваша койка первая слева... стелите свою постельку, я могу вам помочь, если что не так...

Гуревич (яростно) Сам! Сам! Провались, девка!...

Люси исчезает. Пение на время прерывается. Гуревич комкает все белье и швыряет его в угол кровати, потом смотрит направо: розовый Витя с аппетитом глядит на него, поглаживает живот вселюбовнее и облизывается, иногда отворачиваясь в подушку, чтобы подавить в себе смешок, ему одному ведомый. Гуревич с полминуты его разглядывает, ему становится совсем невозможно. Он смотрит на соседа слева: сплетенный со всех сторон Михалыч все еще что-то шепчет, с лицом скудеющим и окаянным. Над ним склонен Стасик.

Стасик. Сейчас по всему миру все могильщики социализма – все исповедуются и причащаются... А ты почему, дедушка, не хочешь?...

Прохоров (Стасику) Цыц, моя радость! Дай потолковать с человеком...

Стасик. Нет-нет, ему нужна минута самоуглубления... Вы плохо знакомы с Востоком... Ты погружаешься в воду... ну... или тебя погружают, но ты ощущаешь: канули в вечность те времена, когда тебя не существовало, – тебя омывают, следовательно, ты есть... Когда купается наложница китайского императора в бассейне сплетающихся орхидей – он так и называется: Бассейн Сплетающихся Орхидей, – так в него добавляют двенадцать эссенций и семнадцать ароматов...

Коля (подступая сзади) ... Но кто после этого облачается в желтое одеяло, не зная истины и самоограничения, – тот недостоин желтого одеяла. Ты можешь мне разъяснить эту дхарму?!...

Прохоров. Шел бы ты со своими дхармами знаешь куда!... Человеку только что в ванной навешали

колотушек. При чем тут дхармы? Продолжай, Стас...

Стасик. И вот я перехожу из ванной с орхидеями, минуя все залы дхарм (взгляд в сторону паршивца Коли), перехожу из бассейна в Зал Благовоний, а из Зала Благовоний в Зал Песнопений. Те, кто по пути мне встречаются, говорят мне: «Благословенный, не ходи в манговую рощу». А я иду, мне говорят три девушки, одна такая лунная-лунная, а другая пасторальная вся, в венке из одуванчиков, конечно. А уж на третью и я не смотрю и ухожу из Зала Песнопений в манговую рощу.

Прохоров. Давай, давай, Стас, дуй в свою долбанную манговую рощу, дай поговорить с евреем. (Гуревичу) Ты по какому делу и как звать?

Гуревич. Гуревич.

Прохоров. Я так и думал, что Гуревич... А случайно не по этому?... (Делает щелчок по горлу)

Гуревич. Ну... в том смысле...

Прохоров. Я так и думал. Евреи иногда очень даже любят выпить... в особенности за спиной арабских народов. Но не в этом дело. Как только появляется еврей – спокойствия как не бывало, и начинается гибельный сюжет. Мне рассказывал мой покойный дед: у них в лесу водилось оленей видимо-невидимо – как их там? косулей, – невпроворот. И пруд был весь в лебедях белых, а на берегу пруда цвел родо-дендрон. И вот в деревню эту приехал лекарь по имени Густав... Ну уж не знаю, насколько он был Густав, но жид – это точно. И что же из этого вышло? – не я рассказываю, рассказывает дед. До появления этого Густава зайцев было столько в округе, что буквально спотыкаешься об них, по ним скользишь и падаешь... Так исчезли для начала все зайцы, потом косули – нет, он в них не стрелял, они пропадали сами собой. (Алехе) Позови старичка Вову.

Вова подходит. Взглянув сначала на Витю, потом на Михалыча, подрагивая, ждет подвоха.

Вова, ты из деревни. Ты можешь представить себе, что на берегу пруда... произрастаешь... тебя зовут Рододендрон. А на той стороне пруда – жид, сидит и на тебя смотрит?...

Вова. Нет, я не могу себе представить... что вот расту...

Прохоров. Ну, к чертям собачьим рододендрон. Вот, вообрази себе, Вова: ты – белая лебедь и сидишь на берегу пруда, а напротив тебя сидит жид и очень внимательно на тебя...

Вова. Нет. Белой лебедью я тоже не могу, это мне трудно представить. Я могу... могу представить, что я стая белых лебедей...

Прохоров. Прекрасно, Вова, ты стая белых лебедей на берегу пруда, а напротив...

Вова. Ну я, конечно, разлетаюсь... кто куда... страшно...

Прохоров. Алеха, уведи Вовочку... Вот видишь, Гуревич?

Гуревич (с трудом улыбаясь) Ну, ладно. (С тревогой взглядывает в сторону Вити, потом наблюдает, как сосед Михалыч делает вздорные попытки вырваться из пут) А этого за что?

Прохоров. Делириум тременс. Изменил Родине и помыслом и намерением. Короче, не пьет и не курит. Все бы ничего, но мы тут как-то стояли в туалете, и зашла речь о спирте, о его жуткой калорийности, – так этот гаденыш ляпнул примерно такое: из всех, поглощаемых нами продуктов спирт, при всей его высокой калорийности, – весьма примитивного химического строения и очень беден структурной информацией. Он еще и тогда поплатился за свои хамские эрудиции: я открыл форточку, втиснул его туда и свесил за ногу вниз – а этаж все-таки четвертый – так и держал, пока он не отрекся от

своих еретических доктрин... Сегодня он решением Бога и народа приговорен к вышке... Я не очень верю, что вначале было слово, но, хоть какое-то задрипанное, оно должно быть в конце, так что пусть этот раздолбай лежит и размышляет...

Гуревич. А скажи мне, Прохоров, тебя облекали полномочиями... Э-э... В одной только этой палате или...?

Прохоров. Да, конечно, нет. Все, что по ту сторону Вити. Оба взглядывают туда, Гуревич отворачивается. Это все мои подмандатные территории, но тебе повезло: завтрашний процесс будет внутripалатным, да еще уголовным к тому же. Паша! Сними с себя простыню! Это Паша Еремин, комсорг, так, вроде ничего, подонок как подонок, но дело серьезное – членовредительство в семействе Клейнмихель!

Сереза (заслышав свою фамилию, встает и подползает в сторону Прохорова) Запишите: у мамы только одна нога осталась на месте... все другие были откручены, и руки тоже, все вместе лежали на буфете...

Гуревич. Так она не кричала, что ли?... Ведь этого быть не может!...

Сереза. Так ведь как бы она кричала, если в это время крестная ушла за бубликами...

Гуревич. Мда... в самом деле... крестная ушла за бубликами – какой смысл кричать?

Стасик (как всегда, проходя мимо) У всех у нас крестные за бубликами поразошлись: кричи-кричи – не до кого не докричишься...

Сереза. Да нет же... При чем тут бублики... ну как вы не понимаете? Ведь он сначала оторвал ей голову, а потом...

Прохоров. До завтра, до завтра все это. До завтра, Сереза, уползи. Так вот, слушай меня, Гуревич: как видишь, у нас порой случаются мелкие бытовые несообразности. А так у нас жить можно. Недели две-три тебя поколют, потом таблетки, потом пинка под зад и катись. У нас даже цветной телевизор есть, кенар с канарейкой. Они только сегодня помалкивают, поскольку завтра Первомай. А так поют. Витя решил их даже не трогать и на вкус не пробовать, а это ли не высшая аттестация для вокалиста, а, Гуревич? А вот от шашек и домино ничего не осталось – все слопал Витя, одну за другой. Чудом уцелела шесть-шесть, Хохуля спрятал ее под подушку и сам с собой играл в шесть-шесть, и всегда выигрывал. А дня через три – небывалое: из-под подушки исчезла шесть-шесть. Хохуля не знает, куда деваться от рыданий, Витя улыбается. Все кончается тем, что Хохуля впадает еще в какую-то протрацию, глохнет и становится сексуальным мистиком... а Витя тем временем берет за шахматы...

Гуревич видит: на тумбочке в центре палаты разложена пустая шахматная доска и на ней белый ферзь.

Стасик (подскакивая) И ведь все умял! Почему только жалеет до сих пор белую королеву? Он ведь у нас такой бедовый: и тайм-аут съел, и ферзевый гамбит, и сицилианскую защиту...

Прохоров. Вот что, Витя. (Усаживается к Вите на постель) Витя, ты скушал все настольные игры. Скажи мне, ты их кушал просто из нравственных соображений, да? Они показались тебе слишком азартными? Здесь рядом со мной доктор из Центра. (Показывает на Гуревича) О! Это такой доктор! (Палец вверх) Он любопытствует: отчего ты так много кушаешь? Тебе не хватает фуражу-провианту?

Витя. (не выдерживает взгляда старосты, перестает гладить пузо, стыдливо прикрывается рукавом) Вкусно...

Прохоров. А белого ферзя почему пожалел, а?

Витя. Жалко... Он такой одинокий...

Прохоров. Понимаю... А скажи мне, Витенька, – тебе во сне одна только жратва снится?

Витя. Нет... нет... царевна...

Прохоров. Царевна? Мертвая?

Витя. Да нет, живая царевна... И вся из себя такая, и с голубым бантиком. Как Золушка... А вокруг нее все Принц ходит... И все бьет ее по голове хрустальным башмачком.

Прохоров. А ты бы съел этот хрустальный башмачок? Чав-чав?

Стасик. Его не Витя надо называть. Его надо называть Нина. Нина Чав-чав-адзе...

Витя. А башмачок съел бы... Чтобы он только ее не бил.

Гуревич. Но, а если уж царевна мертвая. Ну, то есть, он ее добил? До смерти. Ты съел бы мертвую царевну?

Витя (улыбается) Да...

Гуревич. А если б семь богатырей при ней – то как бы?

Витя. И семь богатырей бы тоже.

Гуревич. Ну, а тридцать три богатыря?

Витя. Да... Если бы медсестрички не торопили... Конечно...

Гуревич. А послушай-ка... А сорок разбойников вместе с Али-Бабой?

Витя (с той же беззаботной страшной улыбкой) Да... (Мечтает)

Гуревич (упорно) А сорок тысяч братьев, тех, что прямо от Вильяма?! Неужели тоже?!...

Прохоров (врывается в беседу) Ну все. Завтра мы тебе выдадим и комсорга Пашку. Какая тебе разница? От Адмирала ты отказался – я тебя понимаю. Адмиралы – они хрустят... Сережа! Клейнмихель! Подойди сюда... Скажи... Замечал ли ты на лице преступника следы хоть малого раскаяния?

Сережа. Нет, не замечал... И мама моя покойная в тот день моргнула: понаблюдай, мол, за Пашкой – будет ли ему хоть немножко стыдно, что он со мной так поозоровал? Нет, ему не было стыдно, он весь вечер после того водку пьянствовал и дисциплину хулиганил... И запрещал мне форточку проветривать, чтобы мамой не пахло...

Стасик (проходя мимо, как всегда) Приятно все-таки жить в эпоху распада. Только одно нехорошо. Не надо было лишать человека лимфатических желез. То, что его лишили бубликов и соленых огурцов, это еще ладно. И то, что лишили дынь, – чепуха, можно прожить и без дынь. И плембисцитов нам не надо. Но оставьте нам хотя бы наши лимфатические железы...

Покуда витийствовал Стасик, растворились обе двери третьей палаты, и на пороге – медбрат Боренька и медсестра Тamarочка. Оба они не смотрят на больных, а зыркают вних глазами. Оба понимают, что одним своим появлением вызывают во всех палатах мгновенное оцепенение и скорбь, которой и без того.

Прохоров. Встать! Все встать! Обход!

Все медленно встают, кроме Хохули, старика Вовы и Гуревича.

Боренька (у него из-под белого халата – ухоженный шоколадный костюм, поверх тугой сорочки, галстук на толстой шее. В этом облики его редко кто видел: просто он сегодня дежурный постовой медбрат в первомайскую ночь. Шутейно подступает к Стасику, который застыл в позе «с рукой под козырек») Так тебе, падло, значит, не хватает у нас в дурдоме каких-то там желез?

Тамарочка. Не дрейфь, парень, сейчас у тебя все железы будут на месте.

Боренька, играя, молниеносно бьет Стасика поддых, тот в корчахопускается на пол. Тамара указывает пальцем на Вову.

А этот сморчок почему не встает, вопреки приказу?

Боренька. А это мы спросим у него самого... Вовочка, есть какие жалобы?

Вова. Нет... На здоровье жалоб никаких... Только я домой очень хочу... Там сейчас медуницы цветут... Конец апреля. Там у меня, как сойдешь с порога, целая поляна медуниц, от края до края, и пчелки уже над ними...

Боренька (поправляя галстук) Я, житель городской, в гробу видал все твои медуницы. А какого они цвета, Вовочка?

Вова. Ну, как сказать?... Синенькие они, лазоревые... Ну, в конце апреля, небо после заката...

Боренька под смех Тамарочки ногтями впирается в кончик Вовиноногона и делает несколько вращательных движений, Вовин нособретает цвет апрельской медуницы. Вова плачет.

Боренька (продолжает обход) Ну, как дышим, Хохуля? Минут через пять к тебе придет Игорь Львович с веселым инструментом, придется немножко покорячиться... а тебе что, Коленька?

Коля. У меня жалоба. Я в этой палате уже второй год. Потому что мне сказали, что я эстонец и что у меня голова болит... Но ведь я уже давно не эстонец, и голова давно перестала болеть, а меня все держат, держат...

Тамарочка тем временем привлечена зрелищем справа: Сережа, отвернувшись к окну, тихонько молится.

Тамарочка. А! Ты опять за свое, бабахнутый! (Раздувая сизые щеки, направляется к нему) Сколько раз тебя можно учить! Сначала к правому плечу, а потом уже к левому. Вот смотри! (Хватает его за шиворот и, плюнув ему в лицо, вначале ударяет его кулаком по лбу, потом с размаху – в правое плечо, затем в левое, потом под ребро) Повторить еще раз? (Повторяет то же самое еще раз, только с большей мощью и веселым удалством) Дерьмо на лопате, еще раз увижу, что крестишься, утоплю в помойном ведре!...

Боренька. Да брось ты, Томочка, руки марать. Поди-ка лучше сюда. (Отшвырнув Колю, движется в сторону Михалыча, Вити и Гуревича)

За ним свита: Прохоров, Алеха и Тамарочка.

Прохоров. Товарищ контр-адмирал, как видите, не может встать перед вами во фронт. Наказан за буйство и растленную агентурность. Вернее, за агентурную растленность и буйство.

Боренька. Понятно, понятно... (Краем глаза, скользнув по Гуревичу, вдумчиво грызущему ногти, подходит к Вите)

Витя с розовой улыбкой покоится на раскладушке, разбросанный как гран-пасьянс.

Тамарочка. Здравствуй, Витенька, здравствуй, золотце! (Широкой ладонью с маху шлепает Витю по животу)

У Вити исчезает улыбка.

Как обстоит дело с нашим пищеварением, Витюньчик?

Витя. Больно...

Боренька (хохочет вместе с Тамарочкой) А остальным нашим уважаемым пациентам разве не больно? Вот они почему-то хором запросились домой – а почему, Витюша? Очень просто: ты причинил им боль, ты лишил их интеллектуальных развлечений. Взгляни, какие у них у всех страдальческие хари. Так что вот: давай договоримся сегодня же...

Тамарочка...сегодня же, когда пойдешь покакать, чтобы все настольные игры были на месте. Иначе придется начинать вскрытие. А ты сам знаешь, голубчик, что живых людей мы не вскрываем, а только трупы...

Прохоров между тем с тревогой следит за Алехой-диссидентом. Но об этом речь чуть пониже.

Боренька (расставив ноги в шоколадных штанах и скрестив руки, застывает над сидящим Гуревичем) Встать.

Тамарочка. А почему у этого жиденка до сих пор постель не убрана?...

Боренька (все так же негромко) Встать.

Гуревич остается погруженным в самого себя. Всеобщая тишина.

(Одним пальчиком приподнимая подбородок Гуревича) Встать!!!

Гуревич тихонько подымается и врасплох для всех с коротким выкриком вонзает кулак в челюсть Бореньки. Несколько секунд тишины, но если не принимать в расчет Тамарочкиного взвизга. Боренька, не изменившись ни в чем, хладнокровно хватается Гуревича, поднимает его в воздух и со всею силой обрушивает на пол. С таким расчетом, чтобы тот боком угодил о край железной кровати. Потом – два-три пинка в район печенки, просто изпизонства.

(Тамарочке) Больному приготовить сульфу, укол буду делать сам.

Прохоров. Что ж поделаешь, Борис... Новичок... Бред правдоискательства, чувство ложно понятой чести и прочие атавизмы...

Боренька. А тебе лучше помолчать. Гнида...

Люди в белых халатах удаляются.

Прохоров. Алеха!

Алеха. Да, я тут.

Прохоров. Первую помощь всем пострадавшим от налета!... Стасик, подымайся, ничего страшного, они отвалили. Ничего экстраординарного. Все лучшее – еще впереди. Сначала – к Гуревичу...

Прохоров и Алеха, со слабой помощью Коли, втаскивают на кровать почти не дышащего Гуревича, накрывают его одеялами, обхаживают.

Всем хороши эти люди, евреи. Но только вот беда – жить они совсем не умеют. Ведь они его теперь вконец ухайдакают, это точно. (Шепотом) Гу-ре-вич...

Гуревич (немного стонет и говорит трудно) Ничего... не ухайдакают... Я тоже... готовлю им... подарок...

Прохоров (в восторге от того, что Гуревич жив и мобилен) Первомайский подарок, это славно. Только ведь сначала они тебе его сделают, минут через пять... Рассмешить тебя, Гуревич, в ожидании маленькой пытки? За тебя расплатится мой верный наперсник, Алеха. Знаешь, как он стал диссидентом? Сейчас расскажу. Известно, в каждом российском селении есть свой придурок... Какое же это русское селение, если в нем ни одного придурка? На это селение смотрят, как на какую-нибудь Британию, в которой до сих пор нет ни одной конституции. Так вот, Алеха в Павлове-Посаде ходил в таких задвинутых. На вокзальной площади что–нибудь подметет, поможет погрузить... но была в нем пламенная страсть и до сих пор осталась... Алеха ведь у нас исполин по части физиогномизма: ему стоит только взглянуть на мордасы – и он уже точно знал, где и в каком качестве служит вот этот ублюдок. Безошибочным раздражителем вот что для него было: отутюженность и галстух. И что он делал? Он ничего не делал, он незаметно приближался к своей жертве, сжимая ноздрю, – издали, и вот то, что надо, уже висит на галстучке. Весь город звал его диссидентом, их ошеломила безнаказанность и новизна борьбы против существующего порядка вещей и субординаций... Два месяца назад его приволокли сюда.

Гуревич. Чудесно... Сколько я приглядывался к нации... чего она хочет... Именно такие сейчас ей нужны... Без всех остальных... она обойдется...

Прохоров. А четкость! Четкость, Гуревич! Великий Леонардо, ходят слухи, был не дурак по части баллистики. Но что он против Алехи! Ал-ле-ха!

Алеха. Я, все время тут.

Прохоров. Ну вот и отлично. А ты не находишь, Алеха, что твоя методика борьбы с мировым злом... ну, несколько неаппетитна, что ли... Мы все понимаем, дела в белых перчатках не делают... Но с чего ты решил, что коль уж перчатки не кровавые, так они непременно должны быть в дерьме, соплях или блевотине? Ты пореже читай левых... италяшек всяких...

Алеха. Упаси господь, я читаю только маршала Василевского... и то говорят, что маршал ошибался, что надо было идти не с востока на запад, а с запада на восток...

Прохоров (пробуя еще хоть чуть-чуть развеселить Гуревича перед пыткой) Современное диссидентство, в лице Алехи, упускает из виду то, что надо выдирать с корнем, во-первых, – а уж потом выдерется с тем же поганим корнем и все остальное, – надо менять наши улицы и площадь: ну, посудите сами, у них – Мост Любовных Вздохов, Переулок Святой Женеьевы, Бульвар Неясного Томления и все такое... А у нас? Ну перечислите улицы своей округи – душа начинает чахнуть. Для начала надо так: Столичная – посередке, конечно. Параллельно – Юбилейная, в бюстиках и тополях. Все пересекает и все затмевает Московская Особая. В испуге от ее красот, от нее во все стороны разбегаются: Перцовая, Имбирная, Стрелецкая, Донская Степная, Старорусская, Полынная. Их, конечно, соединяют переулки: Десертные, Сухие, Полусухие, Сладкие, Полусладкие. И какие через все это переброшены мосты: Белый Крепкий, Розовый Крепленный – какая разница? А у их подножия отели «Бенедектин», «Шартрез» высятся вдоль набережной, а под ними гуляют кавалеры и дамы, кавалеры будут смотреть на дам и на облака, а дамы – на облака и на кавалеров. И все вместе будут пускать пыль в глаза народам Европы. А в это время народы Европы, отряхнув пыль...

Снова распахиваются двери палаты. Появляется старший врач больницы. За ним – Боренька со шприцем в руках. Шприц никого не удивляет – все рассматривают диковинный чемодан в руках врача.

Боренька. Вон туда. (Показывает в сторону Хохули)

Доктор непроницаем. Хохуля тоже. Раскладывая свой ящик с электрошнурами, доктор брезгливо рассматривает пациента. Пациент Хохуля вообще не смотрит на доктора, у него своих мыслей довольно.

Боренька (приближаясь к постели Гуревича) Ну-с..., Прохоров, переверните больного, оголите ему ягодицу.

Гуревич. Я... сам. (со стоном переворачивается на живот)

Алеха и Прохоров ему помогают. Медбрат Боренька без всякого злорадства, но и не без демонстрации всесилы стоит вертикально поднятым шприцем, чуть-чуть им попрыскивая. Потом наклоняется и всаживает укол.

Боренька. Накройте его.

Прохоров. Ему бы надо второе одеяло, температура подскочит за ночь выше сорока, я ведь знаю...

Боренька. Никаких одеял. Не положено. А если будет слишком жарко – пусть гуляет, дышит... Если сумеет шевельнуть хоть одной левой... Гуревич! Если ты вечером не загнешься от сульфазина – прошу пожаловать ко мне на ужин. Вернее, на маевку. Слабость твоя, Наталья Алексеевна, сама будет стол сервировать... Ну, как?

Гуревич (с большим трудом) Я... буду...

Боренька (хохочет, но совсем упускает из виду, что с одним пальцем в ноздре к нему приближается Алеха-Диссидент) А мы сегодня гостеприимны... Я – в особенности. Угостим тебя по-свойски, инкрустируем тебя самоцветами...

Гуревич. Я же... я же... сказал, что буду... Приду...

Алеха действительно со знанием дела выстреливает правойноздрей. Палата оглашается криком, доселе никем в палате неслышанным: доктор сделал свое высоковольтное дело с бедолагойХохулей.

Боренька (хватает за горло Алеху) А с тобой – с тобой потом... Знаешь что, Алешенька, – сейчас доктор здесь... Как только он уйдет – мы с тобой отсморкаемся, ладно? (носовым платком оттирая галстук)

Доктор, проходя через палату с дьявольским своим сундучком, озирает больных: на всех физиономиях, кроме прохоровской иАлехиной, лежит печать вечности – но вовсе не той Вечности, которой мы ожидаем.

Доктор. С наступающим праздником международной солидарности трудящихся всех вас, товарищи больные. Пойдемте со мной, Борис Анатольевич, вы мне нужны.

Уходят.

Прохоров (как только скрываются белые халаты, повисает на шее Алехи) Алеха! Да ты же – гиперборей! Алкивиад! Смарагд! Да ты же Мюрат, на белом коне выступающий на Арбат! Ты Фарабундо Марти! Нет, русский народ не скудеет подвижниками и никогда не оскудеет!

Гуревич (одобрительно приподымается на локте) Совершенно верно, староста.

Алеха (окрыленный) Надо было и в дяденьку доктора пальнуть чуток...

Прохоров. Ну ты, витязь, даешь!... Вот это было бы излишне... Не будем усложнять сюжет происходящей драмы... мелкими побочными интригами... Правильно я говорю, Гуревич?... Человечество больше не нуждается в дюдюктивности, человечеству дурно от острых фабул...

Гуревич. Еще как дурно... Да к тому же – зачем затевать эти фабулы с ними? Ведь... их же, в сущности, нет... Мы же психи... а эти, фантазмагии в белом, являются нам временами... Тошнит, конечно, но что же делать? Ну, являются... ну, исчезают... ставят из себя полнокровных жизнелюбцев...

Прохоров. Верно, верно, и Боря с Тamarочкой хохочут и обжимаются, чтоб нас уверить в своей всамделишности... что они вовсе не наши химеры и бреды, а взаправдашние...

Гуревич. Поди-ка ко мне, Прохоров... к вопросу о химерах... Вот это вот (показывает на укол) – это долго будет болеть?

Прохоров. Болеть? Ха-ха. «Болеть» – не то слово. Начнется у тебя через час-полтора. А дня через три-четыре ты, пожалуй, сможешь передвигать свои ножки. Ничего, Гуревич, рассосется... Я тебя развлеку, как сумею: буду петь тебе детские песенки.

Гуревич. Скажи, Прохоров, от этого укола «сульфы» есть какое–нибудь облегчающее средство?

Прохоров. Проще простого. Хороший стопарь водяры. А чистый спирт – и того лучше... (Шепчет на ухо Гуревичу нечто)

Гуревич. И это – точно?

Прохоров. Во всяком случае, Натали сегодня заменяет и дежурную хозяйку. Все ключи у нее, Гуревич. Она их не доверяет даже своему бэль-ами, Бореньке-Мордвороту...

Гуревич (Цепенеет. Пробует встать) Вот оно что... (И снова цепенеет от такой неслыханности) У меня есть мысль.

Прохоров. Я догадываюсь, что это за мысль.

Гуревич. Нет-нет, гораздо дерзновеннее, чем ты думаешь... Я их взорву сегодня ночью!

За дверью голос медсестрички Люси: "Мальчики, на укольчики! Мальчики! В процедурный кабинет, на укольчики!" В третий палатеникто не внемлет. Один только Гуревич делает пробные шаги.

(Еще что-то шепчет Прохорову. Потом:)

Так я вернусь минут через пятнадцать,
Увенчанный или увечный. Все равно.

Прохоров. Bravo! Да ты поэт, Гуревич!

Гуревич.

Еще бы! Пожелай удачи. Буду
Иль на щите и с фонарем под глазом
Фиолетовым, но... но, всего скорей,
И со щитом, и – и без фонарей.

З А Н А В Е С

Акт третий

Лирическое интермеццо. Процедурный кабинет. Натали, сидя в пухлом кресле, кропает какие-то бумаги. В соседнем, аминазиновом, кабинете – его отделяет от процедурного какое-то подобие ширмы – молчаливая очередь за уколами. И голос оттуда исключительно Тamarочкин. И голос примерно такой: "Ну, сколькоя делала тебе в зад уколов, а ты все дурак и дурак!... Следующий!! Больно? Уж так я тебе и поверила! Не зуди, маманя! А ты – чего пристал ко мне со своим аспирином? Фон-барон какой! Аспирин ему понадобился! Тихонечко и так подохнешь! Без всякого аспирина! Кому ты вообще нужен, раздолбай?... Следующий!..." Натали настолько свыклась с этим, что и не морщится, да и не слушает. Она вся в своих отчетных писульках. Стук в дверь.

Гуревич (устало). Натали?...

Натали.

Я так и знала, ты придешь, Гуревич.
Но что с тобой?...

Гуревич.

Немножечко побит,
Но снова Тасс у ног Элеоноры!...

Натали.

А почему хромает этот Тасс?

Гуревич.

Неужто непонятно?... Твой болван
Мордворот совсем и не забыл...
Как только ты вошла в покой приемный,
Я сразу ведь заметил, что он сразу
Заметил, что...

Натали.

Какой болван? Какой Мордворот?
При чем тут Борька? Что тебе сказали?
Как много можно наплести придурку
Всего за два часа!... Гуревич, милый,
Иди сюда, дурашка!...

И наконец объятие. С оглядкой на входную дверь.

Ты сколько лет здесь не был, охломон?

Гуревич.

Ты знаешь ведь, как измеряют время
И я и мне чумоподобные... (Нежно) Наталья...

Наталья.

Ну что, глупыш?... Тебя и не узнать.
Сознайся, ты ведь пил по страшной силе...

Гуревич.

Да нет же... так... слегка... по временам...

Натали.

А ручки, Лева, – отчего дрожат?

Гуревич.

О, милая, как ты не понимаешь?!
Рука дрожит – и пусть ее дрожит.
При чем же здесь водяра? Дрожь в руках
Бывает от бездомности души.

Тычет себя в грудь.

От вдохновенности, недоедания, гнева
И утомленья сердца,
Роковых предчувствий,
От губельных страстей, алканной встречи,

Натали чуть улыбается.

И от любви к Отчизне, наконец.
Да нет, не «наконец»! Всего важнее -
Присутствие такого божества,
Где ямочка, и бюст, и...

Натали (закрывает ему рот ладошкой). Ну, понес, балаболка, понес... Дай-ка лучше я тебе немножко глюкозы волью... Ты же весь иссох, почернел...

Гуревич. Не по тебе ли, Натали?

Натали. Ха-ха! Так я тебе и поверила. (Встает, из правого кармана халатика достает связку ключей, открывает шкаф. Долго возится с ампулами, пробирками, шприцами)

Гуревич, кусая ногти по обыкновению, не отрывает взгляда отключей и от колдовских телодвижений Натали.

Гуревич. Вот пишут: у маленькой морской амфиоды глаза занимают почти одну треть всего ее тела. У тебя примерно то же самое... Но две остальные трети меня сегодня почему-то больше тревожат. Да еще эта победоносная заколка в волосах.

Ты – чистая, как прибыль. Как роса
На лепестках чего-то там такого.
Как...

Натали. Помолчал бы уж... (Подходит к нему со шприцем) Не бойся, Лев, я сделаю совсем-совсем не больно, ты даже не заметишь. (Начинает процедуру)

Глюкоза потихоньку вливается. Он и она смотрят друг на друга. Голос Тamarочки (по ту сторону ширмы). Ну, чего, чего ты орешь, как резаный? Следующий! Чего-чего? Какую еще наволочку сменить? Зашибешься пыль глотать, братишка... Ты! Чмо неумытое! Видел упищблока кучу отходов? Так вот завтра мы таких умников, какты, закопаем туда и вывезем на грузовиках... Следующий!

Натали. Ты о чем задумался, Гуревич? Ты ее не слушай, ты смотри на меня.

Гуревич. Так я и делаю. Только я подумал: как все-таки стремглав мельчает человечество. От блистательной царицы Тамары – до этой вот Тamarочки. От Франсиско Гойи – до его соплеменника и тезки генерала Франко. От Гая Юлия Цезаря – к Цезарю Кюи, а от него уж совсем – к Цезарю Солодарю. От гуманиста Короленко – до прокурора Крыленко. Да и что Короленко? Если от Иммануила Канта – до «Слепого музыканта». А от Витуса Беринга – к Герману Герингу. А от псалмопевца Давида – к Давиду Тухманову. А от...

Натали (на ту же иглу накручивает какую-то новую хреновину и продолжает вливать еще что-то). А ты-то, Лев, ты – лучше прежних Львов? Как ты считаешь?...

Гуревич. Не лучше, но иначе прежних Львов. Со мной была история вот такая: мы, ну чуть-чуть подвыпивши, стояли на морозе и ожидали – Бог весть чего мы ожидали, да и не в этом дело. Главное, у всех троих моих случайных друзей струился пар изо рта – да еще бы! При таком морозе! А у меня вот нет. И они это заметили. Они спросили: «Почему такой мороз, а у тебя пар не идет ниоткуда? Ну-ка, еще раз выдохни!» Я выдохнул – опять никакого пару. Все трое сказали: «Тут что-то не то, надо сообщить куда следует».

Натали (прыскает). И сообщили?

Гуревич. Еще как сообщили. Меня тут же вызвали в какой-то здравпункт или диспансер. И задали только один вопрос: «По какой причине у вас пар?» Я им говорю: «Да ведь как раз пара-то у меня и нет». А они: «Нет-нет. Отвечайте на вопрос: на каком основании у вас пар?...» Если б такой вопрос задали, допустим, Рене Декарту, он просто бы обрушился в русские сугробы и ничего не сказал бы. А я сказал: отвезите меня в 126-е отделение милиции. У меня есть кое-что сообщить им о Корнелии Сулле. И меня повезли...

Натали. Ты прямо так и брякнул про Суллу? И они чего-нибудь поняли?...

Гуревич. Ничего не поняли, но привезли в 126-е. Спросили: «Вы Гуревич?» – «Да, говорю, Гуревич».

Я здесь по подозрению в суперменстве.
Вы правы до каких-то степеней:
Да, да. Сверхчеловек я, и ничто
Сверхчеловеческое мне не чуждо.
Как Бонапарт, я не умею плавать.
Я не расчесываюсь, как Бетховен,
И языков не знаю, как Чапай.
Я малопродуктивен, как Веспуччи
Или Коперник: сорок – сорок восемь
Страниц за весь свой агромадный век.
Итак, сродни я всем великим. Но,
В отличие от Филиппа номер два
Гишпанского, – чесоткой не владею
Да, это правда. (Со вздохом) Не имею вшей,
Которыми в достатке оделен был

Корнелий Сулла, повелитель Рима.
Могу я быть свободен?...

«Можете, – мне сказали, – конечно, можете. Сейчас мы вас отвезем домой на собственной машине...»
И привезли вот сюда.

Натали. А как же шпиль горкома комсомола?

Гуревич. Ну... это я для отвода глаз... и чтобы тебе там, в приемной, не было так грустно.

Натали. Слушай, Лев, ты выпить немножко хочешь? Только – тссс!...

Гуревич.

О Натали! Всем существом взыскую!
Для воскрешенья. Не для куражу.

*Пока Натали что-то наливает и разбавляет водой из-под крана, из-за ширмы продолжается:
"Перезимуешь, приятель, ничего страшного!... Будь мужчиной, судак малосоленный!... Следующий!...
Аштанов-то, штанов сколько на себя нацепил! Ведь все хозяйствосопрееет и отвалится!... Давай-давай!
А ты – сгинь, не мешай работать... Следующий... Ничего, старина, у тебя все идет напоправку,
походишь вот так в раскорячку еще недельки две и -аля-улю – от нас до морга всего триста метров!...
Следующий!" Натали подносит стакан. Гуревич медленно тянет – потом благодарно прикикает губами
к руке Натали.*

Она имеет грубую психею,
Как Гераклит Эфесский говорил.

Натали. Это ты о ком?

Гуревич. Да я все об этой Тamarочке, сестре милосердия. Ты заметила, как дурнеют в русском народе нравственные принципы? Даже в прибаутках. Прежде, когда посреди разговора наступала внезапная тишина, русский мужик говорил обычно: «Тихий ангел пролетел...» А теперь, в этом же случае: «Где-то милиционер издох!...» «Гром не прогремит, мужик не перекрестится», вот как было раньше. А сейчас: «Пока жареный петух в ж... не клюнет...» Хо– хо. Или вот еще ведь как трогательно было: «Для милого семь верст не околица». А слушай, как теперь: «Для бешеного кобеля сто километров не круг».

Натали смеется.

А это вот еще чище. Старая русская пословица: «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться» – она преобразилась вот каким манером: «Не ссы в компот – там повар ноги моет».

Натали смеется уже так, что раздвигается ширма и сквозь нее просовывается физиономия сестры милосердия Тamarочки.

Тamarочка. Ого! Что ни день, то новый кавалер у Натальи Алексеевны! А сегодня – краше всех прежних. И жидяра и псих – два угодья в нем.

Натали (смирно ласкою бунтующего Гуревича, строго Тamarочке). После смены, Тамара Макаровна, мы с вами побеседуем. А сейчас у меня дела...

Тамарочка скрывается, и там возобновляется все прежнее: "Как же! Снотворного ему подай – получишь ты от задницы уши!...Перестань дрожать! И попробуй только пискни, раздолбай!..." Ипр.

Лева, милый, успокойся (целует его, целует) – еще не то будет, вот увидишь. И все равно не надо бесноваться. Здесь, в этом доме, пациенты, а их все-таки большинство, не имеют права оскорблением отвечать на оскорбление. И Боже упаси – ударом на удар. Здесь даже плакать нельзя, ты знаешь? Заколют, задушат нейролептиками за один только плач... Тебе приходилось, Лев, хоть когда-нибудь поплакать?

Гуревич. Хо! Бывало время – я этим зарабатывал на жизнь.

Натали. Слезами зарабатывал на жизнь? Ничего не понимаю.

Гуревич. А очень даже просто. В студенческие годы, например... – ой, не могу, опять приступаю к ямбам.

Ты знаешь, Натали, как я ревел?
Совсем ниотчего. А по заказу.
Все признали, что это я могу.
Мне скажут, например: «Реву, Гуревич!» -
Среди вакхических и прочих дел:
«Реву, Гуревич, в тридцать три ручья».
И я реву. А за ручей – полтинник.
И ты – ты понимаешь, Натали? -
В любой момент! По всякому заказу!
И слезы – подлинные! И с надрывом.
Я, громкий отрок, не подозревал,
Что есть людское, жидовское горе
И горе титаническое. Так что
Об остальных слезах – не говорю...

Натали. И знаешь что еще, Гуревич: пятистопными ямбами говорить избегай – с врачами особенно: сочтут за издевательство над ними. Начнут лечение сульфазинном или чем-нибудь еще похлеще... Ну, пожалуйста... ради меня... не надо...

Гуревич. Боже! Так зачем я здесь?! – вот я чего не понимаю. Да и остальные пациенты тоже – зачем?

Они же все нормальны, ваши люди,
Головоногие моллюски, дети,
Они чуточек впали в забытие.
Никто из них себя не воображает
Ни лампочкой в сто ватт, ни тротуаром,
Ни оттепелью в первых числах марта,
Ни муэдзином, ни Пизанской башней
И не поправкой Джексона-Фулбрайта
К решениям Конгресса. И ни даже
Кометой Швассман-Вахмана-один.
Зачем я здесь, коли здоров, как бык?

Натали.

Послушай– ка, Фулбрайт, ты жив пока,
Пока что не болеешь,– а потом?...
Чего ж тут непонятного, Гуревич?

Бациллы, вирусы – все на тебя глядят
И, морщась, отворачиваются.

Гуревич. Bravo.

Полна чудес могучая природа,
Как говорил товарищ Берендей.

Но только я отлично обошелся бы и без вас. Кроме тебя, конечно, Натали. Ведь посуди сама: я сам себе роскошный лазарет, я сам себе – укол пирарцетама в попу. Я сам себе – легавый, да и свисток в зубах его – я тоже. Я и пожар но я же и брандмейстер.

Натали. Гуревич, милый, ты все-таки опустился.

Гуревич. Что это значит? Ну, допустим. Но в сравнении с тем, сколько я прожил и сколько протек, – как мало я опустился! Наша великая национальная река Волга течет три тысячи семьсот километров, чтоб опуститься при этом всего на двести двадцать один метр. Брокгауз и Эфрон. Я – весь в нее. Только я немножко недоглядел – и невзначай испепелил в себе кучу разных разностей. А вовсе не опустился. Каждое тело, даже небесное тело, имеет свои собственные вихри. Рене Декарт. А я – сколько я истребил в себе собственных вихрей, сколько чистых и кротких порывов? Сколько сжег в себе орлеанских дев, сколько придушил бледнеющих Дездемон?! А сколько я утопил в себе Муму и Чапаев!...

Натали. Какой ты экстренный, однако, баламут!

Гуревич.

Не экстренный. Я просто – интенсивный,
И я сегодня... да почти сейчас...
Не опускаться – падать дальше начинаю.
Я нынче ночью разорву в клочки
Трагедию, где под запретом ямбы,
Короче, я взрываю этот дом!

Тем более я ведь совсем забыл: сегодня же ночь с тридцатого апреля на первое мая. Ночь Вальпургии, сестры святого Венедикта. А эта ночь с конца восьмого века начиная всегда знаменовалась чем-нибудь устрашающим и чудодейственным. И с участием Сатаны. Не знаю, состоится ли сегодня шабаш, но что–нибудь да состоится?!...

Натали. Ты уж, Левушка, меня не пугай – мне сегодня дежурить всю ночь.

Гуревич.

С любезным другом Боренькой на пару?
С Мордоворотом?

Натали.

Да, представь себе.
С любезным другом. И с чистейшим спиртом.
И с тортами – я делала сама -
И с песнями Иосифа Кобзона.
Вот так-то, экс-миленький, экс-мой!

Гуревич. Не помню точно, в какой державе, Натали, за такие шуточки даму бьют по заду букетом голубых левкоев... Но я, если хочешь, лучше тебя воспою – в манере Николая Некрасова, конечно.

Натали. Давай, воспевай, глупыш.

Гуревич. Под Николая Некрасова!

Роман сказал: глазастая!
Демьян сказал: сисястая!
Лука сказал: сойдет.
И попочка добротная,-
Сказали братья Губины,
Иван и Митродор.
Старик Пахом потужился
И молвил, в землю глядячи:
– Далась вам эта попочка!
Была б душа хорошая...
А Пров сказал: Хо-хо!

Натали аплодирует.

А между прочим, ты знаешь, Натали, каким веселым и точным образом определял Некрасов степень привлекательности русской бабы? Вот как он определял: количеством тех, которые не прочь бы ее ущипнуть. А я сейчас тебя так охотно ущипнул бы...

Натали. Ну, так и ущипни, пожалуйста. Только не говори пошлостей. И тихонечко, дурачок.

Гуревич. Какие же это пошлости? Когда человек хочет убедиться, что он уже не спит, а проснулся, – он, пошляк, должен ущипнуть...

Натали. Конечно, должен ущипнуть. Но ведь себя. А не стоящую вплотную даму...

Гуревич. Какая разница?... Ах, ты стоишь вплотную... мучительница Натали... Когда ты просто так зыблешь талией – я не могу, мне хочется так охватить тебя сзади, чтоб у тебя спереди посыпались искры!...

Натали. Фи, балбес! Так возьми – и охвати!...

Гуревич так и делает. Натали с запрокинутой головой. Нескончаемое лобзание.

Гуревич. О Натали! Дай дух перевести!... Я очень даже помню – три года назад ты была в таком актуальном платице... И зачем только меня поперло в эти Куэнь-Луни?... Я стал философом. Я вообразил, что черная похоть перестала быть наконец моей жизненной доминантой... Теперь я знаю доподлинно: нет черной похоти! Нет черного греха! Один только жребий человеческий бывает черен!

Натали. Почему это, Гуревич, ты: так много пьешь, а все-все знаешь?...

Гуревич. Натали!...

Натали. Я слушаю тебя, дурашка... Ну, что тебе еще, несмысленыш?...

Гуревич. Натали... (Неистово ее обнимает и впивается в нее. Тем временем руки его – от страстей, разумеется, – конвульсивно блуждают по Натальным бедрам)

Зрителю видно, как связка ключей на желтой цепочке переходит изкармашка белого халата Натали в больничную робу Гуревича. Апоцелуй все длится.

Натали (чуть позже). Я по тебе соскучилась, Гуревич... (Лукаво) А как твоя Люси?

Гуревич. Я от нее убежал, Натали. И что такое, в сущности, Люси? Я говорил ей: «Не родись сварливой». Она мне: «Проваливай, несчастный триумвир!» Почему «триумвир», до сих пор не знаю. А потом уже мне вдогонку и вслед: «Поганым будет твой конец, Гуревич! Сопьешься с круга».

Натали (смеется). А что сначала?

Гуревич.

Ну, что сначала? И не вспоминай.
О Натали! Она меня дразнила,
Я с неохотой на нее возлег.
Так на осеннее и скошенное поле
Ложится луч прохладного светила.
Так на тяжелое раздумье чело
Ложится, тьфу! – раздумье на чело...
Брось о Люси... Так, говоришь, – скучала?
А речь об этой шлюшке завела,
Чтоб легализовать Мордоворота?...

Натали. Опять! Ну, как тебе не стыдно, Лев?

Гуревич.

Нет, я начитанный, ты в этом убедилась.
Так вот, сегодня, первомайской ночью
Я к вам зайду... грамм двести пропустить...
Не дуриком. И не без приглашенья:
Твой Боренька меня позвал, и я
Сказал, что буду... Головой кивнул.

Натали. Но ты ведь – представляешь?!...

Гуревич.

Представляю.

Нашел, с кем дон-гуанствовать, стервец!
Мордоворот и ты – невыносимо.
О, этот боров нынче же, к рассвету,
Услышит командорские шаги!...

Натали. Гуревич, милый, ты с ума сошел...

Гуревич.

Пока – нисколько. Впрочем, как ты хочешь:
Как небосклон, я буду меркнуть, меркнуть,
Коль ты попросишь... (Подумав)
Если и попросишь,
Я буду пламенеть, как небосклон!
Пока что я с ума еще не сбрендил,-
А в пятом акте – будем посмотреть...
Наталья, милая...

Натали. Что, дуралей?

Гуревич.

Будь на тебе хоть сорок тысяч платьев,
Будь только крестик промежду грудей
И больше ничего – я все равно...

Натали (в который уже раз ладошкой зажимает ему рот. Нежно). А! Ты и это помнишь, противный!...

Кто-то прокашливается за дверью.

Гуревич. Антильская жемчужина... Королева обеих Сицилий... Неужто тебе приходится спать на этом дырявом диванчике?

Натали. Что ж делать? Лев? Если уж ночное дежурство...

Гуревич.

И ты... ты спишь на этой вот тахте!
Ты, Натали! Которую с тахты
На музыку переложить бы надо!...

Натали. Застрекотал опять, застрекотал...

За дверью снова чье-то покашливание.

Гуревич. «Самцы большинства прямокрылых способны стрекотать, тогда как самки лишены этой способности». Учебник общей энтомологии.

Снова тянутся друг к другу.

Прохоров (показываясь в дверях с ведром и шваброю). Все процедуры... процеду-уры... (Обменивается взглядом с Гуревичем)

Во взгляде у Прохорова: «Ну, как?» У Гуревича: «Все путем».

Наталья Алексеевна, наш новый пациент вопреки всему крепчает час от часу. А я только что проходил: у дверей хозотдела линолеум у вас запущен – спасу нет. А новичок... ну, чтоб не забывался, куда попал, – пусть там повкалывает с полчаса. А я – понаблюдаю...

Гуревич. Ну, что ж... (С ведром и шваброй удаляется, стратегически покусывая губы)

Прохоров.

Все честь по чести. Я на то поставлен.
Ты, Алексевна, опекай его.
Он – с придурью. Но это ничего.

З А Н А В Е С

Акт четвертый

Снова третья палата, но слишком слабо заселена: одни еще не вернулись с ужина, другие – с аминазиновых уколов. Комсорг Пашка Еремин все под той же простыней, в ожидании все того же трибунала. Старик Хохуля, после электрошока, недвижим, и мало кого занимает, дышит он или уже нет. Витя спит, Михалыч тоже. Стасик онемел посреди палаты свыброшенной в эсэсовском приветствии рукой. Тишина. Говорит только дедушка Вова с пунцовым кончиком носа.

Вова. Фу ты, а в деревне-то как сейчас славно! Утром, как просыпаешься... первым делом снимаешь с себя сапоги, солнышко заглядывает в твои глаза, а ты ему в глаза не заглядываешь... стыдно... и выходишь на крыльцо. А птички-пташки-соловухи так и заливаются: фир-ли-тю-тю-фирли, чик-чирик, ку-ку, кукареку, кудах-тах-тах. Рай поднебесный. И вот надеваешь телогрейку, берешь с собой документы и вот так, в чем мать родила, идешь в степь стрелять окуней... Идешь убогий, босой, с волосами. А без волос нельзя, с волосами думать легче... И когда идешь – целуешь все одуванчики, что тебе попадают на пути. А одуванчики целуют тебя в расстегнутую гимнастерку, такую выцветшую, выдавшую виды, прошедшую с тобой от Берлина до Техаса...

В палату тихо-тихо заходят, взявшись за руки, Сережа Клейнмихель и Коля. Потирают свои уколы, обсаживают Вову, слушают.

И вот так идешь... ветры дуют поперек... Сверху – голубо, снизу – майские росы-изумруды... А впереди – что-то черненькое белеется... Думаешь: может, просто куст боярышника?... Да нет. Может быть, армянин?... Да нет: откуда в хвощах может появиться армянин? А ведь это, оказывается, мой внучок, Сергунчик, ему еще только четыре годика, волосики на спине только начали расти, – а он уже все различает: каждую травинку от каждой былинки, и каждую птичку изучает по внутренностям...

Коля. А я вот ничего не сумею отличить. А вот уже клен от липы...

Стасик (снова дует по палате из угла в угол). Да! Ничего на свете нету важнее! Спасение дерев! Придет оккупант – а где наша интимная защита? Интимная защита ученого партизана! А в чем она заключается? А вот в чем: ученый партизан посиживает и похаживает, покуривает и посвистывает. И наводит ужас на прекрасную Клару!...

Вова. А мой Николай Семенович...

Стасик (неудержимо). Господь создал свет, да, да, да! А твой Николай Семенович отделил свет от тьмы. А вот уж тьму никто не может отделить ни от чего другого. И потому нам не дают ничего подлинного и интимного! Перловой каши, например, с творогом, с изюмом, с гавайским ромом...

Коля. И с вермутом...

Стасик. Нет, без вермута. При чем здесь вермут? И до каких пор меня будут прерывать? Делать торными тропы нечестивых? Когда, наконец, закончится сползание к ядерной катастрофе? Почему Божество медлит с воздаянием? И вообще – когда эти поляки перестанут нам мозги пудрить?! Ведь жизнь и без того так коротка...

Вова. А ты посади, Стас, какой-нибудь цветочек, легче будет...

Стасик. Хо-хо! Нашел кому советовать! Да ты поди загляни в мою оранжерею. Жизнь коротка – а как

посмотришь на мою оранжерею, так она будет у тебя еще короче, твоя жизнь! Твои былинки и лютики – ну их, они повсюду. А у меня вот что есть – сам вывел этот сорт и наблюдал за прозябанием. Называется он «Пузанчик-самовздутыш-дармоед», с вогнутыми листьями. И ведь как цветет! – что хоть стреляй в воздух из револьвера. Так цветет – что хоть стреляй из револьвера в первого проходящего!... А еще – а еще, если хотите, «Стервоза неизгладимая» – это потому что с начала цветения ходит во всем исподнем! «Лахудра пригожая, вдумчивая» – лучшие ее махровые сорта: «Мама, я больше не могу», «Сихотэ-Алинь» и «Футы, ну– ты». Все, что душе угодно! «Обормотик желтый!», «Нытик двухлетний!» Это уже для тех, кого выносят ногами вперед.

Вова. И все это ты имел в своем саду, браток?...

Стасик. Как, то есть, имел? До сих пор имею! Что, Вова, нужно тебе для твоих панталон?...

Вова. Нету у меня панталон...

Стасик. Ну, нет, так будут... И ты, конечно, захочешь оторочить верх панталон чем-нибудь багряным. Приходи в мой сад – и все твое. «Презумпция жеманная». «ОБХ-ЭС ненаглядный!» «Гольфштрим чечено-ингушский»! Дважды орденосная «Игуменья незамысловатая», лучшие ее разновидности: «Капельмейстер Штуцман», «Ухо-горлонос», «Неувядаемая Розмари» и «Зацелуй меня до смерти». Пурпуровидные сорта зовутся по-всякому: «Любовь не умеет шутить», «Гром победы, раздавайся», «Крейсер «Варяг» и «Сиськи набок». А если...

Вова. А синенькие у тебя есть? Я, если выйду в поле по росе, по большим праздникам, – все смотрю: нет ли синеньких...

Стасик. Ну, как не быть синеньким! Чтоб у меня да не было синеньких?! Вот – «Носопырочки одухотворенные», «Носопырочки расквашенные», «Синекудрые слюнявчики», «Гутенморген»! «Занзибар мой бескрайний», – выбирай сорта: «Лосиноостровская», «Яуза», «Северянин», «Иней серебристый», «Хауду-ю-ду», «Уйди без слез навсегда»... (На словах «без слез и навсегда» снова деревенеет у окна палаты, с выкинутым вертикально кулаком «рот-фронт»)

Все глядят на Вовин носик. У Коли опять что-то течет, Вова бережно утирает. Почти никто не замечает, как староста Прохоров то вторгается в помещение, взглядывает на часы – ему одному во всей палате дозволено носить часы, – то снова исчезает из помещения. Музыка при этом – тревожнее всех тревожных.

Коля. Так ведь и осенью в деревне хорошо... Ведь правда, Вова?

Вова. Осенью немного хуже, с потолка капает... Сидишь на голом полу, а сверху кап-кап, кап-кап, а мышки так и бегают по полу: шур-мур, шур-мур, бывает, кого-нибудь из них пожалеешь, ухватишь и спрячешь под мышку, чтоб обсохли-обогрелись. А напротив – висят два портрета, я их обоих люблю, только вот не знаю, у кого из них глаза грустнее: Лермонтов-гусар и товарищ Пельше... Лермонтов – он ведь такой молодой, ничего не понимает, он мне говорит: «Иди, Вова, в город Череповец, там тебе дадут бесплатные ботинки». А я ему говорю: «А зачем мне ботинки? Череповец – он у-у-у как далеко... Получу я ботинки в Череповце – а куда я дальше пойду в ботинках? Нет, я уж лучше без ботинок...» А товарищ Пельше тихо мне говорит под капель: «Может, это мы виноваты в твоей печали, Вова?» – а я говорю: «Нет, никто не виновен в моей печали». А тут еще теленочек за перегородкой чертыхается и просить чего-то начинает, а я его век не кормил, и откуда он взялся, этот теленочек? У меня и коровки-то никогда не было. Надо бы спросить у внука Сергунчика – так и его куда-то ветром унесло. И всех куда-то ветром уносит... Я уже с вечера поставил у крыльца миску с гречневой кашей – для ежей. Сумерки опускаются. Вот уже и миска

загремела – значит, пришли все-таки ежики, с обыском... Листья кружатся в воздухе, кружатся и садятся на скамью... Некоторые еще взвоятся – и опять садятся на скамью. И цветочки на зиму – все попересажены... А ветер все гонит облака, все гонит – на север, на северо-восток, на север, на северо-восток. Не знаю, кто из них возвращается. А над головой все чаще: кап-кап-кап, и ветер все сильнее: деревья начинают скрипеть и пропадать, рушатся и гибнут, без суда и следствия. Вот уже и птички полетели, как головы с плеч...

Коля. Как хорошо... А у вас в деревне – в апреле тоже тридцать дней или дня три накинута?

Вова. Да нет пока...

Коля. Ну, вот и зря... Надо было немножко накинута... У нас все должно быть покрупнее, чем у них... Они играют на пятиструнной гитаре, а у нас своя, исконная, семиструнная... Байкал, телебашня, Каспийское озеро... А тут получается обидно: и у них в апреле тридцать дней и у нас тридцать. (Пускает слюну)

Вова утирает.

А равняться на Европу, как мне кажется, – это значит безнадежно отставать от нее... Конечно, мы не ищем для себя односторонних преимуществ, но и никогда не допустим, чтобы...

Прохоров (врывается в палату с озаренным лицом). Обход! Обход!

Но странно: вместо привычного: «Всем встать!» – староста отдает приказ ни на что не похожий.

Немедленно лечь на пол! Всем! Мордами вниз! Кто шевельнет глазами туда-сюда – стреляю из всех Лепажевых стволов! Стас, прекрати свои «рот-фронты»! (Подходит к Стасику, но рука его не выходит из состояния «рот-фронт») Ну, ладно, отвернись только к стенке, но пасаран, пассионарий! Венсеремус!

Гуревич входит с помойным ведром, поверх ведра накинута холщовая мокрая тряпка. Швабру оставляет у входа. Подойдя к своей тумбочке, второпях снимает тряпку, из ведра достает почти ведренной емкости бутылку и устанавливает ее, прикрыв тряпьем. Глубочайший выдох.

Гуревич. Ну вот. Теперь как будто бы виктория.

Алеха (с порога). Всем подняться-отряхнуться! Обход закончен!

Прохоров. Всем лечь по своим постелям. Замечайте, психи: обходы становятся все короче. Значит, скоро они совсем прекратятся. Вставайте, вставайте – и по постелям... Так, так... А что вы тут делали? – пока высокосные люди нашей планеты достигли невозможного, – чем в это время занимались вы, летаргический народ?

Вова. Нам Стасик говорил о своих цветочках... Он их сам выращивает...

Прохоров. Эка важность! Цветочки – они внутри нас. Ты согласишься со мной, Гуревич, – ну, чего стоят цветочки, которые снаружи?

Гуревич. Мне скорее надо пропустить, Прохоров, а уж потом... И без того внутри нас много цветочков: циститы в почках, циррозы в печени, от края до края инфлюэнцы и ревматизмы, миокарды в сердце, абстиненции с головы до ног... В глазах – протуберанцы...

Прохоров. Налей шестьдесят пять граммов, Гуревич, и скорее опрокинь. Потом поговорим о

цветочках. Ал-леха!

Алеха. Я здесь...

Прохоров. Немедленно: стакан холодной воды. У Хохули в чемодане – лимоны, вытаскивай их все...

Алеха. Все?!

Прохоров. Все, мать твою...

Гуревич, в сущности, начиная Вальпургиеву ночь, наливаетрюмаху. Внюхивается, до отказа морщится, проглатывает.

(В ожидании своей дозы) Я думал о тебе хуже, Гуревич. И обо всех вас думал хуже: вы терзали нас в газовых камерах, вы гноили нас в эшафотах. Оказывается, ничего подобного. Я думал вот так: с вами надо блюсти дистанцию! Дистанцию погромного размера... Но ты же ведь Алкивиад! – тьфу, Алкивиад уже был, – ты граф Калиостро! Ты – Канова, которого изваял Казанова, или наоборот, наплевать! Ты – Лев! Правда, Исаакович, но все-таки Лев! Гней Помпей и маршал Маннергейм! Выше этих похвал я пока что не нахожу... а вот если бы мне шестьдесят пять...

Алеха. Может, проверить – горит?

Гуревич. Это можно... (На край тумбочки проливает немножко из своего остатка, зажигает спичку и подносит)

Тишина, покуда не меркнет синее пламя.

Прохоров (он даже не разводит свои семьдесят граммов, он держит наготове Хохулин лимон. Опрокидывает. Страстно внюхивается в лимон. Пауза самоуглубленности). Итак. Кончились беззвездные часы человечества! Скажи мне, Гуревич, из какого мрамора тебя лучше всего высечь?

Гуревич. Это как, то есть, «высечь»?

Прохоров. Нет-нет, я не то хотел сказать. (Постепенно входит в раж) Я вот что хотел сказать: с этой минуты, если в палате номер три или в любой из вассальных наших палат какой-нибудь неумный псих усомнится в богодуховности этого (тыкая пальцем в Гуревича) народа, он будет немедленно произведен мною в контр– адмиралы. Со всеми вытекающими отсюда последствиями...

Гуревич. Помаленьку, помаленьку, староста, иначе ты вызовешь переполох в слабых душах... А ты не подумал о том, что Алкивиад тоже вожделеет? Ты вот уже немножко порфиноносен. А взгляни на Алеху...

Прохоров. Ал-леха!...

Алеха. Я тут. (Пока Гуревич чародействует со спиртом и водою, не выдерживает. Делает «лицо». Тренькает себя по животу, как бы аккомпанируя на гитаре. Начинает внезапно в анданте)

А мне на свете – все равно.
Мне все равно, что я г...,
Что пью паскудное вино
Без примеси чего другого.
Я рад, что я дегенерат,
Я рад, что пью денатурат.
Я очень рад, что я давно
Гудка не слышу заводского...

(Вливает в себя все ему налитое. Исполинский выдох. Пробует лихо продолжить свое традиционное)

Обязательно,
Обязательно
Я на рыженькой женюсь!
Пум-пум-пум-пум!

(По собственной пузени, разумеется)

Об-язательно...

Гуревич. Стоп, Алеха. Не до песнопений. Кругом нас алчут малые народы. А мы тем временем, сверхдержавы, пробуем на вкус то, что, вообще-то говоря, делает наши души автономными, но может те же самые души и на что-нибудь обречь... Приобщить этих сырых?

Прохоров. Еще как приобщить! Ал-леха!

Алеха. Я здесь. (Машинально подставляет пустой стакан)

Гуревич. Болван. Ты понимаешь, что такое – сирость?

Алеха. Еще бы не понять. Сережа Клейнмихель, – у него на глазах Паша Еремин, комсорг, оторвал у мамы почти все. И он теперь все кропает и пишет, кропает и пишет... Позвать его?

Гуревич. Позвать, позвать... (Наливает полстакана)

Прохоров. Клейнмихель! На ковер.

Гуревич (подошедшему Сереже). Так о чем тебе моргнула перед смертью твоя мама?

Сережа (всплакнув, конечно). Она все знала. Мамы – они всегда все знают. Что меня не допустят и не дадут снимать картину фильма про маму и Михаила Буденного, и как они крепко целовали друг друга перед решающей битвой. А свою нечистую руку приложил к этому всему Пашка Еремин, еврейский шапион...

Гуревич. Не торопись. Выпей.

Сережа, выпив, прижимает руку к сердцу, не то в знак благодарности, не то всерьез желая уйти из этого мира.

Сережа. Я знаю, что такое еврейский шапион. Первый признак – звать его Паша. А фамилия – Еремин. Других доказательств и не надо. Он не дает мне ночью рисовать стихи и планы всего будущего...

Гуревич. У тебя это что в руках, Буденный?

Сережа. Это то, что я прячу от предателя Павлика. Это все, что я построю, когда меня выпустят. А если я чего-нибудь построю, – Павлик, злодей, все подожжет. Я вам сейчас прочитаю, но чтобы Пашку Еремина туда со спичками не подпускали...

Прохоров. Давай я прочту, зануда. А то у меня есть баритон, а у тебя нет баритона... Так-так... «Проект будущих сооружений: Дом Любви к своей Маме, Дом, где Не Гуляют до Двенадцати Ночи, а Живут с Родными, Детский Мир на Спортивной Реке. Где маленькие шпионы тонут, а большие – всплывают для дачи больших и ложных показаний».

Гуревич. Долго еще будет эта тягомотина?... Сереже больше не давать.

Прохоров. Сейчас-сейчас... (Продолжает) «Вокзал Поездов, чтобы девушки в коротких юбках стояли на подножке. И махали проходящими поездами вслед уходящим поездам».

Гуревич. М-м-м-мда... Тебя все-таки дурно воспитывали, Клейнмихель... Может быть, и прав был комсорг Еремин, расчленив твою маму?...

Сереза. Нет, он был глубоко не прав. Когда она была в целости, она была намного красивше... Вам бы только посмеяться, а ведь смеяться-то не от чего... У меня еще есть один проект, чтобы в России было поменьше смеху: Трубопровод из Франкфурта-на-Майне, через Уренгой, Помары, Ужгород – на Смоленск и Новополюцк. Трубопровод для поставок в Россию слезоточивого газа. На взаимовыгодных основаниях...

Гуревич. Браво, Клейнмихель!... Староста, налей ему еще немножко.

Староста наливает. Поглядив Серезу по головке, подносит.

Сереза (тронутый похвалою, пропустив и крякнув). А еще я люблю, когда поет Людмила Зыкина. Когда она поет – у меня все разрывается, даже вот только что купленные носки – и те разрываются. Даже рубаха под мышками – разрывается. И сопли текут, и слезы, и все о Родине, о расцветах наших неоглядных полей...

Гуревич. Прекрасно, Сереза, утешайся хоть тем, что закланому врагу твоему, комсоргу, не будет ни граммулечки. Он, к сожалению, принадлежит к тем, кто составляет поголовье нации. Дурак, с тяжелой формой легкомыслия, весь переполненный пустотами. В нем нет ни сумерек, ни рассвета, ни даже полноценной убудочности. На мой взгляд, уж лучше дать полную амнистию узникам совести... То есть, предварительно шлепнув, развязать контр-адмирала?

Прохоров. Ну, конечно. Тем более, он уже давно проснулся, ядерный заложник Пентагона. (Потирает руки, наливает поочередно Гуревичу, себе, Алексе) Вставай, флотоводец. Непотопляемый авианосец НАТО. Я сейчас тебя развяжу, признайся, Нельсон, все-таки приятно жить в мире высшей справедливости?

Михалыч (его понемножку освобождают от пут). Выпить хочу...

Прохоров. Да это же совершенно наш человек! Но прежде стань на колени и скажи свое последнее слово.

Михалыч вздрагивает.

Да нет, ты просто принеси извинения оскорбленной великой нации – и так, чтобы тебя услышали прежние друзья-приятели из СевероАтлантического Пакта.

Михалыч (быстро-быстро, косясь на Прохорова, наливающего заранее). Москва – город затейный: что ни дом, то питейный. Хворого пост и трезвого молитва до Бога не доходят. Чай-кофе не по нутру, была бы водка поутру. Первая рюмка колом, вторая соколом, а остальные мелкими пташками. Пить – горе, а не пить – вдвое. Недопой хуже перепоя. Глядя на пиво, и плясать хочется...

Прохоров (намного одушевленнее, чем во втором акте). Так– так-так...

Михалыч. Справа немцы, слева турки, пропустить бы политурки. Без поливки и капуста сохнет. Что-то стали руки зябнуть, не пора ли нам дерябнуть. Что-то стало холодать, не пора ли...

Гуревич. Пора, мой друг, пора...

Михалыч вытираживает глаза от крепости напитка и переменземного жребия.

По нашей Конституции, адмирал, каждый гражданин СССР имеет право выпучивать глаза, но не до отказа... Вова!!!

Вова приходит покорно, но почему-то держа за руку бледногоКолю.

Дети, армянский коньяк на столе, читайте молитву. (Прохорову) А почему они, собственно, здесь – а не там?

Прохоров. Ну, ты же сам слышал... эстонец... голова болит... Разве этого недостаточно?... А что касается Вовы – так он просто так... подозревается в уникальности.

Гуревич. Не надо кручиниться, Вова, завтра же будешь со мной на свободе. У тебя есть мечта?

Вова. Да, да, есть. Я хочу у себя в пруду развести такую рыбку – она называется гамбузия. Так вот эта рыбка, гамбузия, поедает в своем пруду всех комариных личинок, а заодно и все лямблии. Потому что стоит человеку проглотить вместе с водой одну только лямблию, как она, сама по себе, порождает другую лямблию, а третья лямблия, родившись от сочетания первых двух лямблий...

Гуревич. И сколько этих вот самых лямблий может враз заглотать твоя рыбка гамбузия?

Вова. Она может схавать зараз семьдесят пять штук.

Гуревич. И не поперхнуться?

Вова. И не поперхнуться.

Гуревич. Отлично. Вот ровно столько граммов ему и налейте. Только разбавьте водой. А Боренька-Мордovorот сегодня же ночью расплатится за то, что сделал тебе на носу «мо-дус-вивенди»...

Вова (единым залпом выпив, – то, как травка, зеленеет, то, как солнышко, блестит). А самое главное, чем хороша гамбузия, – так от нее ни одного комарика в воздухе. Никто вас не укусит, смело идите в лес, мои маленькие радиослушатели. И гуляйте, пока не позовет Эдик...

Прохоров. А что это за Эдик?

Вова. Никто не знает. Но как только подымается Геспер, тут надо расходиться по домам, потому что Эдик делает знак: пора расходиться. Ничего не поделаешь... Сергунчик, мой внук, не послушался, – и вот результат: ветры унесли его неведомо куда... по заказу Гостелерадио...

Гуревич. Удивительная все-таки страна – Россия! Ну, с какой стати Эдик? На каком основании – Эдик?... (Обращается к Коле) Коля! Ты смыслишь что-нибудь в этой белиберде?

Коля. Конечно. Я уже давно усвоил эту дхарму. (Простирая к публике руку) Отцы наши ели кислый виноград, а у детей на столе один только вермут, и больше ничего.

Десертным вермутом облит,
Онегин к юноше спешит,
Глядит, зовет его – напрасно, его уж нет,
Младой певец нашел безвременный конец.
Особой водки он просил,
И взор являл живую муку, -
И кто– то вермут положил
В его протянутую руку...

Гуревич. Здорово! Налейте поэту мушкателейнвейну!

Коля (выпивает свою дозу «мушкателейнвейна»). А откуда в нашей палате взялся мушкателейнвейн?

Прохоров. Все оттуда же. А откуда в нашей палате, со слабоумными расспросами, взялись пытливые юноши? Взялось, значит, взялось. И при этом, кроме чести, не потеряно ничего. Если явятся вопросы еще, обратитесь к Вите.

Гуревич. Да, да. Если кому чего не ясно – пусть обращается к нашему незабвенному гроссмейстеру. Какая честь – еще при жизни называться незабвенным! Вы-тя! Корчной! то новенького-шизофреновенького?

Все смотрят на Витю. Не совсем понятно, спит он или проснулся, потому что улыбка его, оставаясь дежурной на время сна, становится, по пробуждении, сардонической. Сейчас ничего этого нет.

Гуревич. Ну, очень просто определить, спит человек или нет. Если он хочет присоединиться к компании, значит: проснулся. А если не хочет – стало быть, спит и не проснется вовеки...

Витя. Я проснулся. И пока в этом мире не кончится мушкателейнвейн, я никогда не усну.

Прохоров (поднося Вите). Теперь ты понимаешь, гроссмейстер, что мы живем не то что в мире справедливости, а в мире такой справедливости, которая даже чуть выше в сравнении с наивысшей?...

Витя (приподымая большую, розовую голову). А я не умру?

Гуревич. Ты, Витя, слишком высокого о себе мнения. Во всей происходящей драме – до тебя – никто ни словом не обмолвился о смерти, хоть все и поддавали. Счастье человека – в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей. Пьер Безухов. А если уж смерть – так смерть. Смерть – это всего лишь один неприятный миг, и не стоит принимать его всерьез. Аугусто Сандино.

Витя пьет и – встает. Всех обнимая своей улыбкой – и не стыдясь живота своего, почему-то направляется к выходу.

Прохоров. Наконец-то! Отрада и ужас Вселенной – Витя – хочет пройтись в сторону клозета... Стасик! Прекрати свои «рот-фронты». Иди сюда...

Гуревич (спохватившись). Да, да. Никакие «рот-фронты» и нопасараны уже не пройдут. Над всей Гишпанией – безоблачное небо. Франсиско Франко. По этому поводу опусти руку и подойди.

Стасик. А у нас есть о чем побеседовать: массирующее давление на Исламабад, подводные лодки в степях Украины! И – вдобавок ко всему – насильник дядя Вася в зарослях укропа. И марионетка Чонду-Хван, он все мечтает стереть Советскую Россию с лица земли. Но разве можно стереть того, у кого так много-много земли – и никакого-никакого лица? Вот до чего доводит узкоглазость этих чон-ду-хванов...

Гуревич. Налить ему немедля! И пропорционально тому, что он здесь сейчас нагородил... Боже мой, Витя!...

Витя (с улыбкой, обаятельней которой не было от Сотворения). Вот, пожалуйста, шахматная фигура, я обмыл ее проточной водой... (Ставит на стол посреди палаты – еще один белый ферзь)

Два белых ферзя рядом – это уж слишком. Многие теряют и остаток своих убогих рассудков.

Прохоров. С шахматами мы потом разберемся... А шашки где?

Витя стыдливо молчит. За дверью слышны каблучки. Это Натали последним обходом. И, слава богу, она уже слегка первомайски поддатая. Иначе она уловила бы в палате спиртной дух.

Прохоров. Тишина!... Все – по местам! Накрыться с головой!

Натали входит, всем желает спокойной ночи. Поправляет одеяло – у тех, на ком плохо лежит. Присаживается у изголовья Гуревича. Никому не слышные – а может быть, слышные всем -шепоты и нежности.

Натали (полушепотом). Ни о чем не думай, Лев, все будет хорошо.

Гуревич пробует что-то сказать.

(Прикладывает пальчик к губам) Тсс... Все дрыхнут. В коридоре не души. Адье. Спокойной ночи, алкаши. (Проплывает к выходу, тихотихо прикрывает за собой дверь)

Стук удаляющихся каблучков. Все пациенты разом сбрасывают с себя одеяла, приподымаются в постелях и заворуженно глядят на два белых ферзя посреди палаты.

З А Н А В Е С

АКТ ПЯТЫЙ

Между четвертым и пятым актами – пять-семь минут длится музыка, не похожая ни на что и похожая на все, что угодно: помесь грузинских лезгинок, кафешантантных танцев начала века, дурацкого вступления к партии Варлаама в опере Мусоргского, канканов и кэкуоков, российских балаганных плясов и самых бравурных мотивов из мадьярских оперетт времен крушения Австро-Венгерской монархии. Поднимается занавес. Все та же третья палата, несколько часов спустя: все выглядит настолько иначе, что глупо и говорить об этом.

Прохоров. Рас-светает!... Ал-леха!!

Алеха. Да, я тут.

Прохоров. Вдарь что-нибудь на своей гитаре, Диссидент! Вдарь по сердцам наших просветленных узников!

Алеха. Пум-пум-пум-пум!

Представление начинается. В нем принимают участие все, даже комсорг Пашка Еремин: где только он успел нализаться, непонятно, ведь ему было отказано даже в граммулечке.

Пум– пум-пум-пум!
Пум– пум-пум-пум!
Я надену платье бело
И весеннее пальто.
Никого я не боюсь:
Председатель – мой отец.

Вова.

Председатель к нам спешит,
"Не кручиньтесь, – говорит, -
Не кручиньтесь, не тужите,
Удобренье положите".

Михалыч.

Дети в школу собирались,
Мылись, брились, похмелялись.
Эх, в бога-душу-мать,
Дайте курочку!

Коля.

Ему уж двадцать лет -
А он такой дурак!
Ему уж тридцать лет -
А он такой дурак!
Ему уж сорок лет -
А он такой дурак!
Ему уж...

Алеха (прерывает его).

Коля водит самолеты -
Это хорошо.
Вова пьсаает в компоты -
Это тоже хорошо!

Прохоров.

А агент из Миннесоты -
Тожe очень хорошо!

Это, разумеется, выпад в сторону Михалыча, который в это самое время пробует, как сенсансовская плисецкая лебедь, делать ручками фокусы-покусы.

Сей агент, агент прекрасный,
Опрокинув свой бокал,
На груди ее атласной
Безмятежно засыпал.
Хо– хо

Витя со всем своим пузом вступает в пляс, повязав наволочку вместо косынки.

Алеха (подтанцовывает к Вите).

Ай-ай! Ох-ох!
Все готово. Бобик сдох.
Что с тобою приключилось,
Манечка?

Витя (не без кокетства).

Совершенно ничего,
Ровным счетом ничего,
Ничего не приключилось
С Манечкой.
Просто слишком завертелась
Просто слишком захотелось
Съездить в будущем году
В Пизу или Катманду!
Опля!!

Гуревич между тем с тревогой всматривается в полусонного Хохулю. Очень заметно, как тот, и выпив-то всего-навсего грамм сто пятнадцать, клонится к закату.

Гуревич (подходит к нему, тормошит). Хохуля! Для оживления психеи хочешь еще немножко дернуть? Ты меня слышишь?... Не слышит... Передаю по буквам. Хохуля... дернуть... Д – Движение неприсоединения, Дуайт Эйзенхауэр, Девичьи грезы, Дивные бедра, День поминовения усопших... "Д". Следующая – "Е"... Только вот как передать ему "Е"?... Подлец Карамзин – придумал же такую букву! Здесь у Кирилла и Мефодия были уже и В, и Х, и Ж... Так нет же, эстету Карамзину этого показалось мало... Стоп, ребятишки!!! – Хохуля не дышит!...

Одни обступают мертвеца, другие продолжают беззаботное буйство.

Прохоров. Вот к чему приводит лечение электрошоком! Вот вам блестящее подтверждение несостоятельности нашей медицины!

Стасик становится у трупа, оттянув подбородок, в позестерегущего Мавзолей.

Гуревич. Ничего. Ничего неожиданного. Следует вполне полагать на судьбу и твердо верить, что самое скверное еще впереди.

Прохоров (добавляет). Рене Декарт. И да не будет никто омрачен! Мы отмечаем сегодня вальпургиево празднество силы, красоты и грации! Ха-ха! Танцуют все! Белый танец! Алеха!

Алеха.

Пум-пум-пум-пум!
Пум-пум-пум-пум!
А я вот все люблю,
А я вот всех люблю:
Дедюктивные романы,
Альбионские туманы,
И гавайские гитары,
И гаванские сигары,
И сионских мудрецов,
И сиамских близнецов...
Уй-йу-йу-ууууу!
(На мотив Чайковского)
Не ходи пощипывать,
Не ходи просма-атривать,
Не ходи прощу-пивать
Икры наши де-е-евичьи-и...

Витя (под Кальмана, играя пузенью).

За что, за что, о Боже мой?
За что, за что, о Боже мой?
За что, за что, о Боже мой?
За что, за что, о Боже мой?

Гуревич. Взлеты и провалы династий, Распятие и Воскресение, варфоломеевские ночи и волочаевские дни, – все это, в конечном счете, только для того, чтобы комсорг Еремин мог беззаветно плясать казачок... Нет, тут что-то не так... Подойди, Сережа, я тебе еще чуточек налью...

Сережа, перекрестившись, выпивает.

Гуревич. А Вова? Где Вова? Что с Вовой?

Вова сидит в постели, затылком опершись о подоконник, бездвижения и почему-то с совершенно

открытым ртом.

Поди– ка, взгляни, Прохоров, что с ним?

Прохоров. Дышит! Вовочка дышит! (Напевает ему из Грига)

"Идем же в лес, друг мой, где нас фиалки ждут. Идем же в лес, в зеленый лес, где нас фиалки ждут..."

Вова не откликается ни звуком. Рот по-прежнему открыт. Аголовку его уже обдувает Господь.

Гуревич. Однако!... Там (кивает в ту сторону, где происходит маевка медперсонала) – там веселятся совсем иначе. Ну, что ж... Мы – подкидыши, и пока еще не найденыши. Но их окружают сплетни, а нас – легенды. Мы – игровые, они – документальные. Они – дельные, а мы – беспредельные. Они – бывалый народ. Мы – народ небывалый. Они – лающие, мы – пылающие. У них – позывы...

Прохоров. А у нас порывы, само собой... Верно говоришь! У них – жисть-жистянка, а у нас – житие! У нас во как поют! А у них – какие-нибудь там Ротару и Кобзоны... Хо-хо! Только и делов!

Сепаратно выпивают по совсем махонькой. Остальные, томительнооблизываясь, стоят в стороне.

И вообще – в России пора приступать к коренной ломке всего самого коренного!...

Коля (под советскую детскую песенку).

У меня водчонки нет,
Даже вермутишки нет...

Прохоров (подхватывает).

Только пиво, только воды!
Только воды, только пиво!
И никто у нас не пьян!
Лейте, лейте, сумасброды,
Одуряющее диво
В торжествующий стакан!
Пиф– паф!

(Подходит к баклаге со спиртом, наливает, опрокидывает в себя)

То же самое хотели бы сделать и другие. Но Гуревич ихостанавливает.

Гуревич. Чуть попозже. Клейнмихель, подойди сюда. Я должен сообщить тебе отраду: твоя мама не умерла! Она жива. Пашка ее не убивал! (Наливает ему)

Сереза (прижимая кружку к сердцу). Ура! Моя мама жива!

Пашка. Ура! Я ее не убивал! (Мгновенно выхватывает кружку из рук Серезы и залпом выпивает)

Гуревич. Ты ловок, Паша, как я погляжу. Но здесь ты не сорвешь рукоплесканий. А вот по морде

смажут – это точно – «Привратно и в партикулярной форме».

Прохоров. Рене Декарт?... (Паше)

Короче, друг любезный,
Ступай– ка ты по утренней росе!

Паша, получив от старосты пощечину, икает и присоединяется кпляшущим.

Гуревич. Нет, ты только посмотри, староста! Значит, все-все было не напрасно, все революции, религиозные распри...

Прохоров. Улицы я уже переименовал, эстрадных вокалистов утопил. Теперь уже пора бы...

Гуревич. Да, да. Теперь уже пора бы менять этикетки. А то ну, что это за преснятина? «Юбилейная», «Стрелецкая», «Столичная»... Когда я это вижу, у меня с души воротит. Водяра должна быть, как слеза, и все ее подвиды должны называться слезно. Допустим так: «Девичья Горючая», пять рублей двадцать копеек, «Мужская Скупая» – семь рублей. «Беспризорная Мутная» – четыре семьдесят. «Преступная Ненатуральная» – четыре двадцать. «Вдовья Безутешная» тоже не очень дорого: четыре сорок. «Сиротская Горькая» – шесть рублей. Ну и так далее. Но только прежде чем ломать Россию на глазах изумленного человечества, надо бы вначале ее просветить...

Прохоров. Вот-вот. Наша запущенность во всех отраслях знания... подумать страшно! Я, например, у очень многих спрашивал: сколько все-таки граней в граненом стакане? Ведь у каждого советского стакана одинаковое количество граней. И представь себе – никто не знает. Из ста сорока пяти опрошенных только один ответил правильно, и то невзначай. Пока не поздно, я думаю, не начать ли в России эпоху Просвещения?...

Гуревич. Так мы ее уже начали. Пока – в пределах третьей палаты. А там, смотришь... Ну, чем был наш народ до нас? Вялый демонизм, унылое сумасбродство. Бесшабашность, сотканная из зевот. Ни в ком – никакого благородия, никакого степенства, ни малейшего превосходительства. А уж о высочестве, тем более о величестве, и говорить не приходится. Когда я, будучи на воле, глядел на наших русских, я бывал иногда так переполнен скорбью, что с трудом втискивался в автобус...

Прохоров (патетически). Я тоже. Я считаю, что мы немножко недоделаны и недоношены. Но в нас есть заколдованность. Я чувствую это по себе, а сегодня ночью особенно...

Гуревич. Ничего, ничего. Доносим, расколдуем, доделаем. А если в ком есть еще полузадушенность и недоразвитость – так это тоже легко поправимо...

Тем временем Алеха, Витя, Коля, Сережа и Михалыч медленноприближаются к двум мыслителям и смотрят на них с разнойстепенью обожания.

Прохоров. Алеха?!

Алеха. Мы все тут.

Прохоров. И хорошо, что все.

Гуревич. Вот именно. Там, на вонючем Западе, там тоже все только и делают, что стоят в очередях за бесплатной похлебкой. Ватикан им выдает похлебку или еще кто – не знаю, но они глядят при этом в сторону России и думают... О чем же они там думают, я тоже не знаю, – но как бы то ни было, мы должны быть постоянно начеку и готовить себя к подвигу! А вы готовите себя к подвигу?

Витя. Еще как готовим!

Гуревич. Ну, вот и прекрасно. (Обносит нанепитком всех поочередно. Продолжает при этом) В сущности, мне их жалко. Мы с вами сейчас тоже тремся в очереди – но ведь не за жалкой ватиканской похлебкой, а за предметом высшей категории! Это тоже надо понимать!... И потом – они разобщены: у каждого свой трепет, свое урчанье в животе. У нас – один трепет и одно урчанье!

Алеха. Ура!

Прохоров. Это ты к чему, дурак, крикнул «ура»?

Алеха. А потому, что они разобщены. И мы их передушим, как котенков.

Прохоров. Как ты думаешь, Гуревич: передушим?

Гуревич. Да душисть-то пока зачем? Так уж сразу и душисть! Миротворнее нас – нет среди народов. Но если они и дальше будут сомневаться в этом, то в самом ближайшем будущем они и впрямь поплатятся за свое недоверие к нашему миролюбию. Ведь им, живоглотам, ни до чего нет дела, кроме самих себя. Ну, вот Моцартова колыбельная: «Спи, моя радость, усни»... «Кто-то вздохнул за стеной – что нам за дело, родной? Глазки скорее сомкни...» И так далее. Им, фрицам, значит, наплевать на чужую беду, ни малейшего сочувствия чужому вздоху. «Спи, моя радость»... Нет, мы не таковы. Чужая беда – это и наша беда. Нам есть дело до любого вздоха, и спать нам некогда. Мы уже достигли в этом такой неусыпности и полномочности, что можем лишить кого угодно не только вздоха, тяжелого вздоха за стеной, – но и вообще вдоха и выдоха. Нам ли смыкать глаза!

Прохоров. Я понял так, что все-таки душисть. Только вот не знаю, с кого начать. Наверное, все-таки с фрицев.

Гуревич. Помилосердствуй, Прохоров! Каких еще фрицев? Для того чтобы фриц не дышал, нам не понадобится даже качнуть левой ногой. Да фриц уже, по существу, и не дышит!

Витя. Я бы голландцев за их летучесть...

Михалыч. Тогда уж и жидов за их вечность...

Прохоров. Тссс!... Я предлагаю, Гуревич, лишить Адмирала следующей порции напитка. И заодно разжаловать его в юнги. За вульгаризм...

Гуревич. Мы, пожалуй, так и сделаем.

Алеха. А меня вот лично интересуют Британские острова.

Гуревич. Ну, с Британией нечего и сюсюкать. Уже Геродот не верил в ее существование. А почему мы должны быть лучше или хуже Геродота? Надо, чтобы все достоверно убедились, что ее в самом деле не существует, – а для этого приложить одно, самое незначительное усилие...

Прохоров. А янки в это время пусть чуточек потрепещут. Пусть у них будут поганые, бессонные ночи, нечего с ними гудбайничать...

Коля. Но вот... если мне прикажут душисть скандинавов... так за что мне их душисть? Они ведь такие белокурые-белокурые, такие нивчемневиноватые-нивчемневиноватые...

Гуревич. Ты ошибаешься, Коля. Их надо пропесочить для начала за то, что своих зловонных викингов и конунгов они считают пращурами наших великих князей. И потом – за Квислинга и вообще за то, что они мореплаватели...

Прохоров (подхватывает). И за то, что они вольно разгуливают по обоим, нашим, исконно русским полосам. Стервецы они, а никакие не мореплаватели... К ногтю! – я так считаю...

Михалыч. До скорой встречи, дорогие товарищи моряки! А бескозырку передайте Настеньке. Все. (Как простреленный навывлет, валится у обочины постели и храпит навеки)

Гуревич. Что это с ним? Шутит он или?...

Прохоров. Юнгу просто немножко укачало нашими штормами. Это ничего... С итальянками, например, мы и без него управимся. Пустее племени Господь от веку не сотворял. Им бы только все время обниматься, и ничего другого у них нету. Взять хотя бы этих... Сакко и Ванцетти. Вообще-то обниматься пусть обнимаются. Сакко прекрасен и телом и душой. У Ванцетти – души и в помине нет, зато какие формы! Что спереди, что сзади! Но формы – то формами, а зачем бросать в еловый костер, как головешку, нашего партийного товарища Джордано Бруно? Да будь я итальянец, как бы я осмелился взглянуть в русские глаза после этого!...

Алеха. Эх, разбередил ты меня этими... формами прекрасной Ванцетти! Полячку бы мне!...

Прохоров. Не будет полячек!

Витя. А их-то за что? За Тараса Бульбу?...

Гуревич. Плевать в твою Бульбу!... За то, что они опередили нас в географической приближенности к Европе и...

Прохоров. И в исторической ненависти к жидам...

Алеха (в подражание своему патрону). У меня есть предложение: разжаловать товарища Прохорова в мои ординарцы за вульгаризм и лишить предстоящей рюмахи...

Гуревич. Ну, это уж слишком! Шутнику надо просто дать немножко по шеям...

Прохоров подходит к Алехе и слегка дает ему «по шеям».

Боже! Они опять все перепутали!... Ну, да ладно. Скажите-ка мне лучше, вы готовы к подвигу: а кто из вас любит французикув?

Все. Все!

Гуревич (саркастически). Все?

Все (опомнившись). Никто!

Гуревич. Ну, то-то же. Тут уж слишком обильный криминал: и правый бок Багратиона, и живот Александра Пушкина, и левый глаз Кутузова, и...

Коля (пьяненький). Но это же турки!... Глаз у Кутузова...

Прохоров. При чем здесь турки? Какие еще такие турки?! Всех турок уже давно перестрелял из ружья наш болгарский товарищ Антонов на площади святого Петра в Риме. А я лично видел хорошую картину: на ней изображен Кутузов, и он въезжает на коне не помню куда, но с двумя глазами...

Гуревич. В том-то все и дело. Русский не должен быть одноглазым. Вот они – они могут себе позволить эту роскошь, все эти адмиралы Нельсоны-Рокфлеры. А мы – нет, мы не можем. Тревожная обстановка во Вселенной обязывает нас глядеть в оба. Да.

Аплодисменты.

Коля. Но... Лиссабон... наш такой красивый Лиссабон!...

Прохоров. А это еще что за Лиссабон? Что такое вообще – Лиссабон? Облить его водой со всех сторон и никого не выпускать! Вот так. Или – поджечь его со всех сторон и никого не выпускать!...

Гуревич. Одно только слово «Лиссабон» – мне уже противно слушать. У меня разливается желчь, когда при мне говорят «Лиссабон». А разве должна разливаться желчь у человека? Нет, она разливаться не должна... Значит, и Лиссабона быть не должно!

Аплодисменты.

Тебе, Коля, нужен Лиссабон?

Коля. Не-а...

Гуревич. А тебе, Витя?

Витя. Нисколечко.

Гуревич. Вот видите: на свете существуют вещи, решительно никому не нужные, – цветут, благоухают и существуют. Тогда как человечеству не хватает самого насущного. Короче, Лиссабона не будет... Но при этом могу ли я рассчитывать на своих стратегических союзников?

Все (вразнобой). Можешь, можешь, Гуревич! Давай еще шлепнем по маленькой!...

Гуревич. Самое время.

Шлепают по маленькой.

Сереза. Добрый день, быть может, вечер, я знать, конечно, не могу, привет от чистого сердечка я передать тебе спешу. Здравствуй, покойная мама, с приветом к тебе твой сын Федя. (И вдруг захохотал – необычайно – ведь его никто не видел даже улыбающимся. Прохохотав и закрутившись волчком, падает на пол, бьется в странных пароксизмах.)

Все на время немеют. Музыка.

Гуревич (нахмурившись) Ну, что ж... Мама оказалась жива – и он от этого оказался мертв... В истории уже бывали случаи смерти от внезапно доставленного радостного известия. Мишель Монтень.

Стасик (сбрасывает с себя позу мавзолейного часового и снова начинает пульсировать из угла в угол палаты). Рожденные под знаком качества пути не помнят своего. Но мы – отребье человечества – забыть не в силах ничего! Расслабьтесь, люди, потрясите кистями. И, пожалуйста, не убивайте друг друга, – это доставит мне огорчение. Бог мудрее человек! Держитесь за ризу Христову! (И снова окаменевают: на этот раз в коленопреклоненной и молитвенной позе.)

Гуревич (вдохновенно продолжает). А если нет Лиссабона – понятное дело, остальные континенты проваливаются сами собой. Близятся сроки Воздаяния! Выпьем по махонькой, дорогие собратья, чтобы приблизить эти сроки!...

Алеха (первым выпивает, крикает и пробует возобновить представление).

Пум-пум-пум-пум,

пум-пум-пум-пум.
Вот он, вот он, конец света!
Завтра встанем в неглиже,
Встанем– вскочим; свету нету,
Правды нету,
Денег нету,
Ничего святого нету,
Рейган в Сирии уже!

Хор (уже успевших выпить).

Ничего на свете нету!
Рейган в Вологде уже!

Гуревич. Ша! Пьяная бестолочь! Вы, оказывается, ничего не поняли из моих вдохновенных прозрений! Вы все перепутали!

Прохоров. Мы все отлично поняли, Гуревич. Но только ты забыл про то, что есть ООН и Перес де Куэльяр...

Гуревич. Ну, и пусть. Все равно ведь, никто из нас не будет спасать зачумленный мир! И вы все, пируя, не забывайте о чуме! Пир – это хорошо, но есть вещи поважнее, чем пир.

Звук вначале непонятный. Будто кто-то с размаху затворил засобой дверь на щеколду. Все поворачиваются. А это – Вова. А это–Вовин рот, раскрытый в продолжении всего акта, – захлопываетвсегда. Почти в то же время обрываются храпы комсорга Ереминапод белой простыней. За стеной – «Липа вековая».

Коля (шатаясь, подходит к Вова и прикладывает ухо к его сердцу). Вова! Дядя Вова! Куда ты уходишь?!... Не уходи. В лесу-то ведь сейчас как хорошо! И дух такой духовитый!... (По-ребячески плачет) Гамбузии плещутся в пруду... расцветают медуницы...

Вова не откликается.

Прохоров. Ну, почему бы действительно не отпустить человека в деревню?... Ведь просился же, каждый день просился – и всякий раз отказывали. Вот и зачах человек от тоски по лесным пространствам...

Гуревич. За упокой...

Четверо оставшихся, под все длящуюся «Липу вековую», выпиваютза упокой.

Прохоров (в упор смотрит на Гуревича). И чем же все-таки кончится... вся эта серия наших побед над замученным миром?

Гуревич (с пафосом). Я поведу вас тропюю грома и мечты! Распростертие крыльев наших будет во всю ширину земли! Не лишайте себя предрассветных чувств! Свистать всех наверх! Еще по бокалу! За солнечное сплетение обстоятельств!...

Алеха (голосом хриплым и павшим). Ура...

Витя, выпив, тоже оседает на койку, рядом с Алехой. Егоначинает неудержимо рвать шахматными пешками и костяшками домино. Сотрясаясь всем своим телом, он делает несколько конвульсивных движений ногами – и падает в постель, бездыханный. Гуревич и Прохоров загадочно смотрят друг на друга. Свет в палате, неизвестно почему, начинает меркнуть.

Стасик (встает с колен. Забегал в последний раз). Что с вами, люди? Кто первый и кто последний в очереди на Токтогульскую ГЭС? Отчего это безлюдно стало на Золотых пляжах Апшерона? Для кого я сажал цветы? Почему?... Почему в тысяча девятьсот семидесятом году ЮНЕСКО не отметило две тысячи лет со дня кончины египетской царицы Клеопатры?!... (И снова замерзает, на этот раз со склоненной головой и скрестив на груди руки, а-ля Буонапарте в канун своего последнего Ватерлоо. И так остается до предстоящего через несколько минут вторжения медперсонала.)

Прохоров. Алеха!

Алеха (тяжело дышит). Да... я тут...

Прохоров (тормошит). Алеха!...

Алеха. Да... я тут... прощай мама... твоя дочь Любка... уходит... в сырую землю. (Запрокидывается и хрипит.) Мой пепел... разбросайте над Гангом...

Хрипы обрываются.

Прохоров. Так что же это... Слушай, Гуревич, я видеть начинаю плохо... А тебе – ничего?... (Уже исподлобья.)

Гуревич. Да видеть-то я вижу. Просто в палате потемнело. И дышать все тяжелее... Ты понимаешь: я сразу заметил, что мы хлещем чего-то не то...

Прохоров. Я тоже почти сразу заметил... А ты, если сразу заметил, почему не сказал?

Гуревич. Мне просто показалось...

Прохоров. Что тебе показалось?... А когда уже передохла половина палаты, тебе все еще казалось?... (Злобно.) Умысел у тебя был. Ум-мысел. Вы же не можете... без ум-мысла...

Гуревич. Да, умысел был: разобщенных – сблизить, злобствующих – умиротворить... приобщить их к маленькой радости... внести рассвет в сумерки этих душ, зарешеченных здесь до конца дней... Другого умысла не было...

Прохоров. Врешь, ползучая тварь... Врешь... Я знаю, чего ты замыслил... Всех – на тот свет, всех – под корень... Я с самого начала тебя раскусил... Ренедекарт... Сссу-чара... (Пробует подняться с кровати и с растопыренными уже руками надвигается на спокойно сидящего Гуревича. Но уже не в силах, что-то отбрасывает его назад, в постель.) Ссученок...

Гуревич. Выражайся достойнее, староста... Что проку говорить теперь об этом?... Поздно. Я уже после Вовиной смерти понял, что поздно. Оставалось только продолжать.

Прохоров. Ты мне просто скажи – смертельную дозу... мы уже перевалили?

Гуревич. По-моему, да. И давно уже.

Обмениваются взглядами, полными бездонного смысла. Продолжает темнеть.

Прохоров. Абзац, значит... Ну, тогда... Там еще чуть-чуть плещется на дне... Ты слушай: прости, что я в сердцах на тебя нашипел... На тебе нет никакой вины... Налей, Гуревич, весь остаток – пополам. Ты готов?

Гуревич (совершенно спокойно). Готов. Но только здесь умирать противонатурально. Меж крутых бережков – пожалуйста. Меж высоких хлебов – хоть сейчас... Но здесь!...

Чокаются кружками. Дышат еще тяжелее прежнего.

И потом, мне предстоит вначале большое дело... один обещанный визит...

Прохоров, ухватившись за горло и за сердце, клонится и клонится к подушке.

Гуревич (машинально продолжает долбить). Они там маевничают... У них шампанское льется со стерлядями... У них райская жизнь, у нас – самурайская... Они – бальные, мы – погребальные... Но мы люди дальнего следования... Сейчас мы встанем... Изверг естества... неужели с ней? Уже несколько часов с ней?... «Гуревич, милый, все будет хорошо», – так она сказала. Сейчас, сейчас... (Вскакивает и опять обрушивается на стул.)

За сценой – или изнутри стен – упадническая песня Надежды Обуховой «Ох, ты ноченька, ночка темная...» и т.д.

Ты звал меня на ужин, Мордovorот, так я – к завтраку... Чудотворная девка! Натали!... Пока я тут сижу, они в это время... Господи, не мучай... они в это время... (Роняет голову на тумбочку и вцепляется в волосы.) Боже милосердный! И почти ничего не вижу... Библию мне и посох – и маленького поводыря... за малое деяние пойду по свету – благовестить... Теперь я знаю, что и о чем – благовестить. (С тяжким трудом приподымается со стула, вцепившись в тумбочку всей душой, – только б не упасть, только б не упасть.) Пока еще хоть немножко осталось зрения – я доберусь до тебя, я приду на завтрак... Ссскот... (Отрывается от тумбочки. Качнувшись, делает первый шаг, второй.) Ничего, я дойду. (Третий шаг, четвертый. Спотыкаясь в темноте о труп Михалыча, падает. Медленно, ухватившись за спинку чьей-то кровати, встает.) Я пойду. Ощупью, ощупью, потихоньку. Все-таки дотянусь до этого горла... Ведь не может же быть, Натали, чтобы все так и осталось! (Почти совсем темно. Пятый шаг. Шестой. Седьмой.) Боже, не дай до конца ослепнуть прежде исполнения возмездия. (И снова падает, рассекая голову о край следующей кровати. Две минуты беспомощных и трясущихся, громких рыданий.) Дойду, доползу... (Как это ему удастся? Снова встает во весь полный рост. Руками обшаривая перед собой пространство, делает еще пять шагов – и он уже у дверного косяка.) Сейчас... чуть передохну – и по коридору, по стенке, по стенке...

Прохоров, до того лежавший спокойно, приподнимает голову и издает крик, всполошивший все палаты, всех спящих и неспящих медсестер и медбратьев в ординаторской и в докторском кабинете. Так в этом мире не кричат. Взбудораженные, полусонные, поддавшие постовые, с доктором во главе, по освещенному коридору приближаются к третьей палате поступью Фортинбрасов. Первое, что им предстает, – едва дышащий Гуревич, уже совсем слепой, с синим и окровавленным лицом. Боренька-Мордovorот пинком отшвыривает его от входа в палату. Все врываются.

Доктор (перекрывая разногласицу и гвалт). Срочно к телефону! На центральный и в морг!

Постовые медсестры (вразнобой). А один-то! Один-то умер стоя! Скрестивши руки!... И до сих пор не падает, к стенке привалился! Пять литров метилового – подчистую! Нет, один, по– моему, еще дышит... Кто же так кричал? Сколько я помню, никогда такого урожая не случилось!

Куча санитаров – толстых и с носилками. Начинается выноstrupов, звучит третья часть Второй симфонии Сибелиуса.

Боренька. Наташа, где твои ключи?!

Натали (ополоумев, даже не плачет). Ой не знаю... ничего не знаю...

Одна из медсестер. А Колю-то, Колю зачем понесли? Он ведь будто немножко дышит...

Доктор (язвительно). Ничего! Тоже в морг! Вскрытие покажет, имеем ли мы дело с клинической смертью или клиническим слабоумием!...

Боренька (поддевая ногой раненую голову Гуревича). А с этим что делать?

Доктор. Пронаблюдайте за ним. А я к телефону. Трезвону сегодня не оберешься.

Боренька (за ноги втаскивает Гуревича на середину палаты. Слепцу и зрителю почти ничего не видно, Бореньке видно все) Ну как поживаем, гнида?... Тоскуем по крематорию?... Вонючее ваше племя! (Серия ударов в бок и в голову тяжелым ботинком.) Мало вам было крематориев?

Гуревич (хрипло). Я же слепой... Я ничего не вижу...

Удар.

Натали (из полутьмы). Что же теперь будет-то, мама... (Толчкообразно всхлипывает. Плачет, как девчонка.)

Боренька (при каждой его реплике Сибелиус на время отступает, и вторгается музыка, которая, если переложить ее на язык обоняний, отдает протухшей поросятиной, псиной и паленой шерстью). Ослеп, говоришь? Ссучье вымя!... Раньше ты жил, как в раю: кто в морду влепит – все видать. А теперь – хрен увидишь. (Влепляет еще, потом опять в голову.)

Натали (истерично). Борька! Перестань! Перестань! Ведь это с ума сойти! Перестань! (Затыкается в клокающих рыданиях.)

Боренька (со все возрастающим остервенением). Душегубки вам строить надо, скотское ваше племя!

Серия ударов в почки, рычание слепого и сопение медбрата.

Тварь ползучая! Ссскотобаза!

Рык Гуревича становится все смертельнее. Занавес уже закрыт, иможно, в сущности, расходиться. Но там, по ту сторону занавеса, продолжается все то же, и без милосердия. Никакихаплодисментов.

КОНЕЦ